

Викт. р Драгунский

КРАСНЫЙ
ШАРИК
В СИНЕМ
НЕБЕ



Виктор Драгунский

**КРАСНЫЙ
ШАРИК
В СИНЕМ
НЕБЕ**



МОСКВА
— СОВЕТСКАЯ РОССИЯ —
1982

P2
Д72

Художник П. Тырышкин

Драгунский В. Ю.

Д72 **Красный шарик в синем небе.— М.: Сов. Рос-
сия, 1982.— 224 с., ил.**

Повесть «Он упал на траву» и рассказы известного советского
писателя Виктора Драгунского.

Д 4803010102—255
М-105(03)82 **195—82.**

P2

О ВИКТОРЕ ДРАГУНСКОМ

Виктор Драгунский прожил не столь уж долгую, но необыкновенно большую и полную жизнь. Он был заводским рабочим, театральным актером, клоуном в рыжем парике, снимался в кино, руководил замечательным эстрадным коллективом под милым и смешным названием «Сипяя птичка» и, наконец, стал писателем, которого быстро узнали и полюбили и дети, и взрослые.

Чем бы ни занимался в жизни Виктор Драгунский, он делал все мастерски — с душой, увлечением, талантом и огромной светлой улыбкой. Каждому делу, которое его захватывало, он отдавался до конца и с равным уважением относился к любой из многих своих профессий.

И мне думается, закономерным пиком его пестрой, бурной жизни оказалось писательское творчество. Оно вобрало в себя весь его громадный жизненный опыт, знание и понимание людей, суммировало все виденное, пережитое и наделило жизнью вечной.

Он стал одним из лучших детских писателей, автором известных «Денискиных рассказов», превосходным — нежным, добрым и грустным — писателем для взрослых. Особая, доверительная авторская интонация повестей «Он упал на траву» и «Сегодня и ежедневно» делает прозу Драгунского правдивой, как исповедь. Драгунский будто говорит с тобой с глазу на глаз, искренне, задушевно, часто взволнованно, а иногда патетически — он и этого не боится, ибо слова его из сердца. Он считает тебя умным, добрым, все понимающим собеседником, ему не страшно показаться сентиментальным, наивным, растроганным до беспомощности. И эта интонация завораживает.

Как многообразен был Драгунский и до чего же он цельный человек! И помню его на эстраде и в кино, на театральной сцене и просто в жизни, всюду он был равен себе: добрый и насмешливый, растроганный и негодующий, непримиримый к пошлости, фразерству, жизнелюбивый до какой-то даже алчности. Он умел получать радость от весеннего солнечного дня, от хрусткого яблока, от рюмки холодной водки, от присутствия красивой жепщины, от дружеского разговора — кто еще умел так ценить золото человеческого общения, как Драгунский! — от работы, которую делал легко, бодро, без тяжести пота гугодумия. И главное — он был во всем артистичен. Этот тучный человек легко и физионо двигался, он бурлил и рокотал, как горный поток, радостно отзываясь на все творящееся вокруг, не терпел пустых незаполненных минут, охотнее всего создавал праздник; если же тебе было грустно, больно, становился нежным, внимательным, бесконечно терпеливым. Но при малейшей возможности старался вызвать улыбку...

Виктор Драгунский был ярко и радостно талантлив. Он был добрым, веселым и потому счастливым человеком. Свою любовь к жизни, веру в жизнь и в людей он передает читателям, которых у него великое множество не только в нашей стране, но и во всем мире.

ЮРИЙ ПАГИБИН

13 мая 1981 г. Пахра



часть I

ОН УПАЛ НА ТРАВУ

ПОВЕСТЬ



Очень темная была ночь, когда я, нагруженный разными свертками, усталый как черт и голодный, подошел к своему переулку. Здесь у аптеки я должен был подождать ее. На улице уже было тихо и глухо. Москва отдыхала после тревожного дня перед тревожной ночью. Все мы, москвичи, знали, что через несколько минут обязательно прозвучит сигнал воздушной тревоги, фриц опять начнет рваться к нашему городу и мы уведем женщин, детей и стариков в бомбоубежище, а сами побежим на места — в лестничные клетки, в подъезды и на крыши, будем слушать надсадный вой чужого мотора и с надеждой смотреть на кинжально перекрещивающиеся лезвия прожекторов. Нетерпеливым сердцем будем подгонять зенитчиков и будем радоваться, когда услышим первые удары наших батарей, — они такие сильные, молодые и стучат полновесно, как весенний первый гром, когда, резвяся и играя, и — как там дальше? — ах да, грохочет в небе голубом! Знал я также, что молодой командир батареи у зала Чайковского будет командовать «Огонь!», и после каждого залпа он будет звонко материться, и это всем нам, дежурящим на окрестных крышах, будет как маслом по сердцу.

Да, скоро объявят воздушную тревогу, а пока Москва немножко отдыхала, и я стоял на перекрестке, в полной темноте, и видно, никогда не забыть мне часа в последнюю августовскую ночь в Москве, когда я ждал на углу возле аптеки эту женщину и знал, что завтра я уйду из моего врезанного в сердце города и от нее уйду и буду делать что-то большее, чем дежурство на крышах и тушение зажигалок.

А время все шло, и от нетерпения я уже насчитал несколько раз по пятисот, а Валя все не приходила. Я вошел в парадное, где стояла будка автомата, опустил гривенник и, отсчитывая в сипей темноте буквы и цифры на телефонном диске, набрал ее номер. Телефон басисто прогудел, и Валя сняла трубку. Это сразу ударило меня по сердцу. Я слышал ее голос, а ведь она должна была отсутствовать. Это поразило меня. Она, значит, дома, а я стою на ветру и жду ее, а она вовсе и не собирается проводить меня, провести со мной вечер, проститься...

Я сказал:

— Это я, что ж ты не идешь?

И я услышал, как она ответила мгновенно, как будто знала, что я позволю, и как будто давно уже отрепетировала свой ответ.

— Понимаешь, Зойка,— сказала она,— ничего не выйдет, мне не вырваться сегодня. Семейные дела заели. Да и поздно уже!

— Какая к черту Зойка?— Я почувствовал, что у меня упало сердце. Я сказал:— Я не Зойка. Это Митя говорит.

Она засмеялась:

— Нет, Зойчик, не могу. Не проси.

Я сказал:

— И завтра уезжаю. Ведь ты же плакала. Что ты не-сешь? Мы не простимся?

Она помолчала, потом сказала тихо и очень вятно:

— Неудобно. Надеюсь, ты напишешь. Будь здорова.

Я услышал комариный писк разъединения и механически повесил трубку.

Вышел я из будки, так резко толкнув дверь, что ушиб кого-то стоящего там, в темноте.

— Ох,— сказал кто-то,— чуть-чуть не убил.

В парадном стояла девушка. Синий свет не давал возможности разглядеть ее лицо.

Я сказал:

— Извините,— и хотел было уйти.

Но она сказала:

— Я вас давно жду. Одолжите мне гривенник, пожалуйста, или разменяйте двадцать копеек.

Я протянул ей монету. У меня их всегда полны карманы. Она взяла гривенник, напарив в темноте мою руку, и я ощутил прикосновение горячих и сухих пальцев. Она сказала:

— Если можно, не уходите. Я мигом.

Я остался в парадном. Я не мог как следует осознать все случившееся, и на душе у меня было непоправимо скверно. Ведь, черт побери, честно говоря, я был в эти дни, в эти ужасные первые дни войны, как какой-нибудь сумасшедший: я был счастлив. То есть я был потрясен войной, я ненавидел фрица, я знал, что уйду на войну во что бы то ни стало, но вот в глубине сердца у меня, несмотря на такое ужасное горе, как война, светилось счастье. Это было потому, что я верил в Валину любовь и сам любил ее всем сердцем. А теперь, после разговора по теле-

фону, особенно после ее правдивого голоса, который так здорово врал и обзывал меня Зойкой, после этого я почувствовал, что ничего хорошего в моей жизни не осталось и что я теперь как солдат, у которого отняли его личное оружие, и все могут стрелять в него, как в бессмысленный столб. Я совершенно растерялся от этого разговора и не знал, что делать. Из автомата вышла девушка. Она сказала:

— Спасибо, что подождали. Вы меня знаете?

Я сказал:

— Нет.

— Да мы же рядом живем,— сказала девушка,— вы в конце переулка, а я не доходя, наискосок. Я недавно в Москву переехала, а раньше жила в Туле. А теперь мама там, а я у тети... А вас я часто встречаю в переулке, и одна девочка мне про вас все рассказала.

Ну и ну, все ей рассказала. Вот это да. А что рассказывать-то?

— Так что я все про вас знаю, Митя Королев. Дайте руку, а то я боюсь ходить по этому переулку.— Она взяла меня за руку, и мы вышли. Ночь стала еще темней. Вокруг слышались сдержанные голоса прохожих, люди говорили тихо, как будто боялись, что их услышит какой-нибудь фриц, там наверху. Мы постояли немного с незнакомой девушкой на краю тротуара и пошли домой. Не хотелось мне идти домой, прямо скажем — противно было, особенно потому, что я весь был обвешан покупками, как какой-нибудь пижон. А еще противней было, что покупочки эти оказались ни к чему, ни для кого. Все эти пакеты и свертки хрустели новой бумагой как окаянные, словно смеялись надо мной. Девушка вдруг сказала:

— Значит, никто не придет проводить вас и проститься?

Я сказал:

— Это не ваше дело

Она вздохнула:

— Всегда, когда стоишь у автомата, слышишь чужой разговор. Конечно, это нехорошо.

Мы сделали еще несколько шагов, и девушка вдруг остановилась:

— Это, наверно, горько и обидно: звонить куда-то и узнать, что тебя не придут проводить и проститься?

Я сказал:

— Да.

Она как будто рассердилась, потому что спросила сухо:

— Может, мне отстать от вас?

Я сказал:

— Да. Отстаньте, пожалуйста.

Она крепче сжала мою руку.

— Это не дело, прогнать меня, раз я боюсь ходить этим переулком. Ладно, я буду молчать и не буду мешать вам переживать.

Я с удовольствием дал бы ей затрещину, но меня мучило сейчас другое, и я промолчал.

Мы проходили мимо большого серого дома, когда она сказала:

— Вот я здесь живу.

Я сказал:

— Ну, пока.

Но она не отпустила мою руку:

— Я провожу вас, мне не хочется домой.

Мы вошли в наш двор, где нас тихонько окликнули дежурные, и прошли в самый дальний конец. Моя дверь была налево от садика, я жил теперь один на нашем первом этаже. Я пошарил в почтовом ящике и взял ключ.

Я сказал:

— Ну вот. Пока.

Но она сказала:

— Можно я к вам зайду? Давайте уж я провожу вас, раз никого больше нет.

Я никак не реагировал на ее слова. Меня мучило совсем другое, и то, что говорила эта девчонка, не имело никакого значения. Я отпер дверь и впустил ее к себе. В темноте я проверил, опущены ли шторы затемнения, и зажег свет. Потом я свалил всю эту сотню свертков на стол и вынул из бокового кармана плоскую бутылочку старки; я купил ее в коктейль-холле, мне нравилось, что она плоская, как у какого-нибудь отчаянного героя старого кинофильма.

Девушка в это время, не дожидаясь моей помощи, сняла с себя плащ и повесила его на гвоздик, торчавший в стене у дверей. Она с любопытством осматривалась. Особенно ее заинтересовали Валины карточки в разных ролях, которые я развесил в своей комнате.

Я сел на стул у окна. Она подошла ко мне и сказала:

— Хотите есть?

— Нет,— сказал я.

— Надо поесть,— сказала она и показала на свертки:— Вон сколько еды, у меня слюнки текут. Сейчас я накрою

на стол, у нас будет прощальный ужин, а потом я уйду, и вам не надо будет меня провожать. Здесь я не боюсь — совсем ведь рядом.

Я сказал:

— Действуйте как хотите.

Она принялась вертеться вокруг столика и хлопотать, на лбу у нее появились забавные заботливые морщинки, она начала играть во взрослую хозяйку, брала с полки посуду, и все это получалось у нее очень симпатично и ловко. И как она комкала освободившийся пергамент и обсасывала палец — все это было очень забавно. Я подумал: как жалко, что у меня нет никого на свете близких, и как хорошо было бы иметь такую вот забавную сестренку с серьезным личиком. Я бы уж смог сделать так, чтобы моя сестренка меня любила, я бы ей покупал всякие ленточки и вообще баловал бы. Я сидел у окна, больная моя нога привычно ныла, и, хотя меня непрерывно мучила вся эта подлая история с Валею, я все-таки вдруг захотел есть и подсел к столу.

Девушка сидела напротив меня, она тоже ела и все поглядывала на меня, словно удивлялась, что вот я такой невежливый, — ужинаю с дамой и не веду оживленную светскую беседу. В общем-то она была права. Она-то ни в чем не была виновата.

Поэтому я сказал:

— Давайте выпьем!

— Ну что ж...

Я налил из плоской бутылочки ей и себе.

— В общем, — и она подняла рюмку, — в общем, я пью за то, чтоб вы были счастливы.

Я сказал:

— Спасибо.

И увидел, что она никак не может решиться выпить.

— А вы в общем-то пили когда-нибудь?

Она поставила рюмку и прикрыла ее сверху ладошкой:

— Честно?

— Да.

— Это в первый раз.

Она сконфуженно улыбнулась. Просто давно не видел такой занятой девушки. Я сказал:

— Если в первый раз — лучше не пейте, не надо. Обожжет горло, захватит дыханье, слезы побегут.

Я выпил свою рюмку. Она смотрела на меня и явно побаивалась. Я налил себе еще.

— Ну хорошо,— сказала она,— я не буду пить. А вам интересно узнать наконец, кто же я такая?

— Нет,— сказал я,— неинтересно. Мама в Туле, тетя здесь. Чего же еще?

— Ну, а как меня зовут? Тоже неинтересно?

— Абсолютно,— сказал я.— Ну, так как, будете пить, нет? А то ваша рюмочка выдыхается, давайте ее сюда, я сам ее выпью...

— Нет,— сказала она и отодвинула от меня свою рюмку,— нельзя! А то вы узнаете все мои мысли...

— Ого! Значит, вы скрываете свои мысли. Любопытно, какие же это ужасные мысли, если их нужно скрывать?

Честное слово, она покраснела. Она отвернулась к окошку, и я увидел, что она вся покраснела, у нее шея стала розовой. Я пожалел даже, что так сказал.

— Слушайте,— сказал я,— только не обижайтесь. Я сам обиженный. Скажите мне наконец, как вас зовут.

Она вся засияла и благодарно взглянула на меня.

— Меня зовут Лина...

Я сказал:

— Знаете что? Тяпнем, Лина. Тяпнем за нашу с вами мужскую дружбу.

— Тяпнем!— сказала она.

Я налил себе и кивнул ей.

Она довольно мужественно глотнула и стала закусывать с таким обыкновенным видом, как будто делала это на дню три раза. У нее такая была напряженная мордочка, и вся она такая была забавная и трогательная — ну сестренка, просто сестренка моя, которой нет.

Я сказал:

— Вы домой шли, Лина? Вас, наверное, ждут?

Но она махнула вилкой, на которой висела шляпка белого грибка.

— А... была не была!

— Отчаянная, да?— сказал я.— Сорвиголова?

— Оторви да брось,— сказала она и засмеялась, и было видно штук шестьдесят белых зубов, один в один, крепких как орешки.

Я налил ей еще совсем немножко, чуть покрыв доньшко. Вот уж не стал бы спаивать такую славную девочку, она была просто прелесть и такая забавная, сказать нельзя.

— Вот,— сказал я,— спивайтесь, заблудшая душа.

И тут она меня удивила. Она скинула туфельки, вскочила на стул и высоко подняла свою рюмочку:

— Я пью за самое большое в нашей жизни,— сказала Лина, и ее милое юное лицо стало торжественным и важным.

Она трезво и строго посмотрела на меня:

— Я пью за Победу.

Она это так тихо и значительно сказала, что у меня сжалось сердце. Я выпил свою рюмку, и Лина выпила тоже. Она все еще стояла на стуле и смотрела на меня трезво и сурово. Я подошел к ней, взял ее за талию и опустил на пол. Она все смотрела мне в глаза без улыбки. Я крепко прижал ее к себе и поцеловал. Никогда не забуду прохладное прикосновение ее губ. Как будто мигом меня отбросило назад в детство, и я пробежал по июньскому росному лугу босиком, и где-то за зеленым лесом в синем небе звенели колокола. Я держал Лину в своих руках и слышал, как бьется ее сердце, и вдыхал запах ее волос, ее платья, всего ее милого девичьего существа. Я долго так стоял, очень долго, целую вечность, и кровь гудела во мне, шумела и билась. А Лина все глядела на меня, потом словно устала и закрыла глаза. В это время завывла сирена. Я разжал руки. Лина заметалась по комнате.

— Тревога,— шептала она,— боже мой, опять тревога! Что же делать?

Она была бледная, и губы у нее дрожали, у бедняжки,— так испугалась. И все это росистое утро на июньском лугу, что сейчас цвело в этой комнате, отлетело, ушло от нас, развеялось как дым, поглощенное страшным, рвущим душу воем сирены. Мне нужно было идти на крышу. Я подал Лине плащ.

Ее недопитая рюмка осталась на столе. Мы вышли во двор. Ночь была бодрая, свежая, и в небе ясно блестели небрежно насыпанные звезды. Лина сказала:

— Я тетю возьму. Отведу в метро, она больная.

Она пошла по двору и исчезла в темноте, только слышно было, как простучали ее туфельки и где-то в глубине двора хлопнула наша входная калитка.

2

А я помчался по черной лестнице вверх, быстро добрался до седьмого этажа и сделал еще несколько шагов по железным ступенькам маленькой лестницы, ведущей на чердак. Пахло старой чердачной пылью, все балки были покрыты этой мягкой пылью дома, они были

словно замшевые, эти балки, добрые и теплые, я знал их каждую в лицо. Наш мальчишечий мир лазил сюда еще в те баснословные года, когда мы играли в «казаки-разбойники», и каждый чердачный поворот, каждый каменный уступ был знаком мне и дружелюбен, я мог пройти по чердаку до любого слухового окна, закрыв глаза и не рискуя ушибиться.

На крыше уже сидел дядя Гриша, дворовый водопроводчик, мой напарник по посту ПВО. Брезентовые рукавицы, щипцы и ящик с песком были в полном порядке, мы с дядей Гришей считались лучшими дежурными. Мы гордились этим, особенно дядя Гриша, — он был в нашей паре начальником. Сейчас его силуэт темнел возле люка, я окликнул его и сел рядом. После чердачной непроглядной тьмы здесь, на крыше, было совсем светло, я видел маленькую, тощенькую фигурку дяди Гриши, замасленную его кепочку с умильной пуговкой и хитроватые круглые сорочки глаза, настороженно поблескивающие в темноте. Он поднял короткий твердый палец, ткнул им в небо и сказал:

— Подходит...

Я уже давно слышал этот пакатный злой звук и тоже уставился в небо. Проекторы наши метались по небу, толкались, на мой взгляд, без всякого смысла и всячески суетились. Бомбежка еще не начиналась, зенитки молчали, и в этой погоне прожекторов за невидимым зудящим звуком, за этой личинкой смерти, которая его издавала, было что-то в высшей степени странное, лихорадочное. Так протянулись несколько томительных минут, и вдруг далеко на горизонте, как мне показалось — где-то за Самотекой, а то и за Марьиной Рощей, прожекторы вдруг сбегались к одной точке на ночном небе, скрестились, образовав в центре своего соприкосновения как бы маленький молочно-голубой экран, и все вместе плавно потянули этот экран направо. Мгновенно грянули зенитки. Это было в самом деле как музыка, как весенний радостный гром, и я услышал, как рядом со мной засмеялся дядя Гриша.

— Схватили, — сказал он и всхлипнул, — повели!

Я ничего не мог разглядеть, волнение ослепило меня. Но дядя Гриша точно уставил свой маленький твердый палец куда-то вверх, крепко стиснул мое плечо, не отпустил его и все приговаривал:

— Вот он, фриц, вот он, — гляди же, раззява!

Я наконец увидел небольшое серо-металлическое пят-

но, тускло поблескивающее в тисках прожекторов. Вот когда мне сжало сердце! И хотя чудеса редко бывают в жизни, но здесь чудо случилось. Немецкий самолет вдруг резко клюнул, потом замедленно, нехотя пал на крыло, неожиданно круто дернулся вниз и полетел, уже без порядка вертясь и кувыркаясь, как лист, и оставляя за собой черный коптящий след. Прожекторы провожали его за небосклон до земного предела, зенитки умолкли, и суровая тишина, сладчайшая тишина первого отмищения повисла над московскими крышами. Я закрыл лицо руками. Дядя Гриша вынул из кармана краюшку хлеба и разломил ее пополам.

— На,— сказал дядя Гриша,— покушай хлеба.

Я взял хлеб и стал его жевать. Да будь оно проклято, вот когда я понял свое несчастье! Хромой. Хромуля. Хромоног. На призывной комиссии, когда пришел мой год, меня даже не стали осматривать. Они сидели все рядом, все в белом, важные и властные, и, когда увидели меня, сразу согласно зачиркали карандашами. Один из них сказал:

— Негоден.

И все неторопливо покивали головами.

Я тогда пошел домой не слишком огорченный. Я не думал, что будет война. Я не знал, что эта проклятая нога не даст мне делать самое нужное дело — бить врага. Я тогда увлекся живописью и решил стать художником. Я прочитал, наверно, тыщи полторы книг и целыми днями ходил по музеям. Осваивал наследство. А потом высокий худой человек завербовал меня в театр. Он привел меня за кулисы, дал мне краски, кисти и научил варить клейстер и кроить полотна, и театр покорила меня, поглотив меня всего, околдовал и поработил. Я ничего не видел тогда на свете, кроме кулис и декораций. Я полюбил запах клейстера и холста, волшебный запах грима, сухой запах париков и терпкий запах дешевого одеколона. Я знал и любил запах сырых афиш и горячий запах раскаленных ламп. Театр ухватил меня крепко, и ничто, кроме писанных задников, картонных замков, фанерных Бастилий, слюдяных речек и электрических звезд, не интересовало меня. Там, в театре, я и увидел эту удивительную женщину. У нее были прекрасные тонкие руки, и она не посмотрела, что я хромой. Нет, она не посмотрела, не сказала «негоден». И когда я сказал ей вчера, что уйду в ополчение, она упала головой на гримировальный столик и заплакала. Она здорово плакала,— я поверил. И как она спокойно

предала меня сегодня. Как это у нее просто получилось. Обещала прийти и не пришла, только и всего. Мило и грациозно...

— ...Второй заходит, — сказал дядя Гриша.

В небе опять плясали прожекторы. Били зенитки. Рычал, словно собираясь залаять, немецкий мотор.

И вдруг в воздухе что-то завывло, засвистело с ужасающим нарастанием. Воздух как бы заколебался, разорвался, меня вдруг бросило и втиснуло в крышу и потянуло с силой вниз, я распластался, заскользил и зацарапал ногтями, пытаюсь вцепиться в уходящую жизнь, но смерч все несся надо мной, и меня тянуло за ним, увлекало все дальше и дальше к краю крыши семиэтажного дома. Носки моих ног уперлись в водосточный желоб, воздух давил меня в затылок, пихал, чтобы проломить мною эту ничтожную жестянку, а я упирался ногами и крмчая, и огромный взрыв заглушил мои крики. Дом задрожал весь как в ознобе, и во внезапно наступившей тишине я услышал мелодические, робкие звуки разбивающегося стекла.

— В шестьдесят восьмой угодило, — сказал дядя Гриша, высываясь из-за люка, — разбомбило, видать. На палку-то, держись, ай встать не можешь?

Он протянул мне сверху багор, я взялся за него мягкими, бескостными руками и полежал так несколько секунд, набираясь жизни от дяди Гриши. Это было как переливание крови. Потом я сжал пальцы посильнее и сказал:

— Подтяни чуть-чуть!

И дядя Гриша вытащил меня.

— Мог слететь, — сказал он, — и очень просто.

Мы опять сидели с ним рядом. Уже светлело. и мы смотрели на огромный столб пыли и дыма, подымавшийся совсем недалеко от нас.

— Везучие мы с тобой, — весело сказал дядя Гриша, — ей-богу, везучие. Ведь эта фугаска полтонны, а то и тонна, не меньше, били небось по нас, да промазали.

Я сказал:

— Я пойду туда.

Но дядя Гриша не пустил меня.

— Мы на посту, парень, — сказал он, — дай дожждаться отбоя. Еще не вечер.

Но все-таки это был конец. Наступил рассвет. Побелевшие лучи прожекторов словно истаяли в огромном небе и исчезли один за другим. Снизу послышался звон колоколов

пожарной команды. Долетели какие-то крики, — видимо, начались спасательные работы.

Было трудно сидеть здесь и ничего не делать, но приходилось терпеть.

Так прошло еще с полчаса. Когда диктор наконец объявил отбой, я спустился вниз и побежал к разбомбленному дому. Он был оцеплен, пожарники и милиционеры никого не пускали. Их одутловатый начальник распоряжался работами. Сбежавшиеся со всех концов Москвы машины скорой помощи стояли с открытыми дверями и включенными моторами. Отдельно стоял большой черный фургон. Под ногами хрустело битое стекло. Утренний ветер перегонял с места на место обрывки газет и легкие ватные хлопья. Горький запах пепелища, запах несчастья и сиротства пронзал душу. Два высоких санитаров пронесли мимо меня носилки. На носилках лежала Лина. Она была голубая. На левой Лишиной ноге не было туфельки. Санитары несли Лину бегом, неосторожно, не боясь причинить ей боль. Они вошли в большой черный фургон вместе с Линой и почти мгновенно вернулись, уже без нее. Фургон никуда не уехал.

Я повернулся и пошел домой.

3

Я вошел в маленькую, обитую темной жестью дверь одной из комнат в подвале нашего театра. Было девять часов утра, и кладовщик Борис Филиппыч сидел уже на своем месте. Он не оглянулся, когда я вошел, он барабанил пальцами по аккуратно прибранному столу. Набарабанившись, старик неприязненно глянул на меня из-под нависших лысых надбровий и протянул мне новенький, приятно пахнущий грецкими орехами защитного цвета ватник:

— Прикинь.

Я надел ватник прямо на пиджак. Но, надетый на пиджак, он был мне все равно широковат. Борис Филиппыч посмотрел на меня и неодобрительно качнул головой. Потом он пошарил под столом и вытащил оттуда пару новых яловых сапог. Он кинул их мне под ноги. Сапоги упали, тяжелые как утюги.

— Примерь, — сказал Борис Филиппыч.

Я разулся. Сапоги тоже оказались немного великоваты,

но я не обратил на это внимания и падел их прямо на носки. Свои ботинки я оставил у Бориса Филиппыча, он взял их не глядя, кинул на стол и протянул мне какую-то серую разграфленную бумагу — это была, по-видимому, ведомость. Старик ткнул в нее пальцем:

— Распишись.

Он посмотрел на меня и побарабанил пальцем по столу. Потом сказал:

— Ну, будь.

Сапоги стучали и плохо сгибались при ходьбе. Они касались острыми краями голенищ моих подколенок. Они стучали очень красиво, так, наверно, стучат голландские сабо. Добротные были сапоги, громоздкие как рояли.

Волоча их по пустынному фойе театра, я прошел на сцену. Было очень рано. Сцена была обставлена вчера ночью, рабочие еще не появлялись. Артисты приходят позже рабочих, но все равно я не хотел никого дожидаться, потому что не мог себе представить, как я буду себя держать, если придет Валя. Слишком это было бы трудно. Я вышел на улицу и постоял у рекламных щитов, в холодке. Валя смеялась мне с этих щитов щедрой солнечной улыбкой. Она была здесь в разных видах, дирекция делала на нее ставку, — молодая звезда. Солнце стояло над городом, оно лило свою благодать на пустынную площадь, оно припекало во всю ивановскую, и меня совсем разморило в моей ватной кольчуге. Мне стало жарко и не захотелось по жаре стучать в тяжелых сапогах до дома, чтобы собирать вещевой мешок, но там на столе стояла недопитая Линой рюмка и одиноко торчал в стене гвоздик, на который она вешала плащ.

Из-за угла вышел Федька, наш молодой режиссер. Он подошел ко мне, ухватил меня своей мясистой рукой за локоть и сказал, ежеминутно поправляя роговые очки:

— Вот чертова жара. Пошли в Эрмитаж, а? Там певец какой-то приехал из-за границы. Прослушивание идет.

Федька хрипло засмеялся, закашлялся, засипел, глазки его стали серьезными, он поправил очки и невесело добавил:

— Фриц прет как скаженный, а нам понадобились интимные песенки. Пошли — полюбуемся?

Я сказал:

— Не хочется.

Федька близоруко сощурился и спросил:

— Ты чего это в ватник парядился, как Чайльд Гарольд? И при сапогах?

— Я в пять часов уезжаю.

— Куда?

— В ополчение.

— Так,— сказал Федька.

Он постоял, помаргивая и томясь и растерянно переступая с ноги на ногу. Потом он решительно шагнул ко мне.

— Слушай,— сказал Федька,— у меня вопросик: а не наплевать ли нам на интимные песенки? Пошли погуляем, пока тихо.

У меня словно камень с души свалился. Я сказал:

— Ну что ж, пошли...

И я пошел с Федькой, с этим тюленем, с этим близоруким бегемотом. Я шел с ним рядом, скинув ватник, стуча сапогами, и радостно было мне, потому что человеку нужен друг, и на войну его должен провожать друг, а без друга человек не человек.

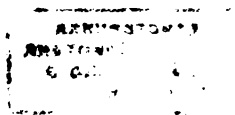
Мы пошли с ним вниз по Тверской, вышли на Красную площадь, постояли перед храмом Василия Блаженного. Мы всегда им восторгались. Потом мы перешли через мост, походили по Болоту, и — снова под мост, на набережную. Москва-река дышала в наши лица, остужая их, и Кремль глядел на нас своими несказанными куполами, и зеленой травы на спуске у Большого дворца было так много и такого она была изумрудного яркого цвета, что действовала просто как болеутоляющее. Мы перешли еще один мост и пошли Александровским садом обратно к Тверской. Москва была красива и широка, и нам, коренным москвичам, все еще трудно было привыкнуть к новым ее масштабам и к новым огромным домам, выросшим так недавно. Мягкий асфальт таял под ногами, и мои сапоги уже давали себя знать неприятной болью где-то над пятками. Мы шли вверх по Тверской и прошли уже телеграф и Моссовет. Мы больше помалкивали, но, когда дошли до елисеевского магазина и прошли его, Федька вдруг сказал:

— А может быть, выпьем?

— После,— ответил я,— ближе к отъезду.

— Завтра, завтра, не сегодня — так ленивцы говорят,— сказал Федька.— Никогда не откладывай такие дела. Увидимся ли...

Мы вошли с ним в ресторап, где директором был знаменитый Борода, седой, красивый, веселый человек. В этом ресторане питались почти все артисты Москвы да и вообще



театральный народ. Я был здесь несколько раз с Федькой, бывал и с Валей.

В дверях нас встретил бритоголовый, с красным склеротическим лицом официант Лебедев. Он сразу признал меня и показал глазами на свой столик. Этот старик служил здесь исконо веку, всю свою жизнь, и мне было приятно, что вот он, видите ли, узнал меня. Мы сели за столик, Федька хрюкнул и поправил очки.

— Дайте нам водки, — сказал он деловито.

— В такую-то жару? — усомнился Лебедев. — Может, пивка?

— Не надо нас воспитывать, — отрезал Федька. — Мы уже большие. Мы уже ополченцы. Сегодня уходим. Последний нонешний денечек. Видите, мы в ватнике! Когда еще достанется? Потом будешь вспоминать — слезами обольешься. Да и увидимся ли...

Мы выпили, поговорили с Федькой о театральных делах, и Федька палил по второй.

— Не стоит, — сказал я.

— После слезами обольешься, — строго сказал Федька, — надо выпить, куме, тут, на том свете не дадут!

Мы выпили еще.

— Не удовлетворяют меня театральные формы, — объявил Федька, — обетшали! Честное слово! Все стригутся под Станиславского. А надо, брат, работать! Понял? Надо искать! Где? В формах, вот где. Формализм — великая вещь, если им правильно пользоваться. Да-да. Давай, слушай, пей, не задерживай.

— Не охота, тебе говорят, — сказал я.

— Если ты уверец, что мы увидимся с тобой, друже, — сказал Федька, — тогда не надо... А если не уверец...

Мы выпили. Федька откинулся на спинку стула.

— Ты бы хоть рассказал, что такое твой формализм? Как ты его понимаешь? — спросил я.

Федька копался в своей тарелке, придирчиво рассматривая каждую капустинку сквозь очки.

— Формализм, брат, я понимаю, как формальное отношение к форме и формалистам!

Он захохотал и стал усаивать тарелку на горлышко графина.

— Я, — сказал он надменно, — ищу новые формы! Довольно бриться под МХАТ! Что когда-то было прогрессивным, может сегодня оказаться глубоко реакционным. Ты об этом думал?

Он взялся за графин:

— Вот мы сейчас выпьем за то, чтобы нам увидеться!
За чудную нашу землю минус фашизм! Давай!

Тарелка, конечно, вырвалась все-таки из его толстых пальцев, упала и разбилась.

Лебедев стал собирать осколки.

— Это к счастью, — сказал Федька и полез под стол помогать Лебедеву.

Я наклонился к нему и тоже помогал.

— Значит, ты, Митька, вернешься в полном порядке, — сказал Федька под столом и вылез оттуда, пыхтя и отдуваясь, — это к счастью, уверяю вас. Лебедев, голубчик, принесите нам еще водки.

— Дудки, — сказал Лебедев, — вы уже.

— Что — уже? — удивился Федька. — Лебедев, поймите, мы провожаем его в ополчение. Ведь он у нас ребенок. Он, может быть, там заболит или что-нибудь еще. Ведь его же жалко? Лебедев, у вас есть дети?

— Две персоны, — сказал Лебедев.

— Девочки?

— Мальчики.

— Большие?

— Одному сорок два, другому тридцать восемь.

— Вот видите, — сказал Федька, — принесите выпить.

— Все, — твердо сказал Лебедев, — разрешите получить. После благодарить будете.

Я сказал:

— Пошли, Федька, собираться надо.

Я заплатил Лебедеву деньги и дал ему пять рублей на чай.

Когда я встал, Лебедев тронул меня за плечо.

— Увидимся, — сказал он, — крепко надеюсь!

4

Мы с Федькой пошли ко мне. Дома у меня все было по-прежнему неприбрано. Линина недопитая рюмка стояла на столе, и гвоздик, на котором висел вчера ее плащ, торчал на своем месте.

— Плохо у тебя, — сказал Федька. — Это чья рюмка?

— Не тронь, — сказал я.

Федька отдернул руку.

— Дамы? — сказал он. — Красотки кабаре?

— Она уже умерла, — сказал я.

Федька посмотрел на меня странно увеличившимися глазами.

— Я пьяный, да? — спросил он. — Ничего не понимаю.

— Сегодня разбомбило дом, в котором она жила, — сказал я. — Я видел, как выносили ее тело.

Федька отошел от стола.

— Хорошая? — сказал он. — Красивая?

— Ты не про то, — сказал я.

— Любил. Крепко?

— Совсем не любил, — сказал я.

— Пьяный я, совсем разобрало, — сказал Федька. — Жалко как мне тебя, и эту девушку жалко, всех так жалко, хоть помирай.

Он скрипнул зубами и лег на постель.

А я быстро стал собираться. Положил в мешок полотенце, рубаху, чашку, носки, булку, остатки вчерашней колбасы, ножик, галстук, и сахар, и карандаш. Подпершись локтем, Федька лежал на боку и смотрел на меня молча и сочувственно.

— Ну, а она? — сказал он.

— Кто? — сказал я.

— Сам знаешь.

Я промолчал.

— Тяжелый ты человек, — пробормотал Федька, уминя под себя подушку. — Потому, что хромой. Ты думаешь, ты гордый, а ты просто тяжелый. — Он укоризненно покачал головой. — Может быть, что-нибудь передать на словах? — крикнул он. — Не молчи!

Но я все-таки промолчал. Федька сел на кровать и стал причесывать прямые волосы толстой пятерней.

— Вот что, — сказал он неожиданно, — я решил: я с тобой поеду. Нельзя тебя одного отпускать. Слышишь? Я еду с тобой!

Это он говорил совершенно серьезно, даю голову на отсечение.

— Не смейши народ, Федька, — сказал я.

Он погрозил мне кулаком и снова улегся на спину. Кровать прогибалась под ним, он покряхтывал, глядя в потолок, а я встал у крапа, разделся до пояса, умылся холодной водой и потом долго стоял не вытираясь, от этого было еще прохладней и благостней. Опьянение слабело во мне, выходило через поры освеженного тела, выдыхалось

постепенно, и от этого на душе становилось все лучше и лучше.

Потом я прибрал на столе, вылил старку из Лининой рюмочки в раковину, подобрал с полу обрывки бумаги, взял мешок, надел и встряхнулся, чтобы он улегся на спине поспоровистой, и сказал:

— Пошли, Федька. Пора.

Он вскочил с кровати и тоже побежал к крану. Я оправил за ним кровать. Федька кончил мыться. Он сказал:

— Пошли.

Мы вышли в мой маленький коридор. Я запер дверь комнаты и положил ключ в почтовый ящик.

Федька спросил:

— Это зачем?

Я сказал:

— Для ребят. Мало ли кто зайдет, Андрюшка или Санька Гинзбург, у меня так всю жизнь.

— А может, сдать в домоуправление?

— У них есть запасной. Да они и про этот прекрасно знают.

— Ну что ж...

— Да,— сказал я,— пора. Пошли, Федька.

Мы пошли со двора. Солнце уже не палило так пещадно, хмель улетучился из головы, и идти по теневой стороне было приятно.

— Далеко нам? — спросил Федька.

— Пять минут ходу, — сказал я.

Мы уже подходили к углу, когда кто-то окликнул нас. Это был наш актер Зубкин. Маленький, надутый, с большим лягушачьим ртом, этот деятель давно действовал мне на нервы. Ставка на карьеру во что бы то ни стало, при сером характере дарования, неукротимый подхалимаж и хамелеонская способность ежеминутно перестраиваться отталкивали меня от него. Он кричал на уборщиц и гнул спицу перед первачами.

Зубкин шел за нами, через плечо у него была перекинута солдатская скатка — ярко-голубое детское одеяльце. В руках Зубкин держал большую хозяйственную сумку.

— Далеко собрались? — молодежато спросил он.

— Недалеко, — сказал я.

— Он уходит в ополчение, — объяснил Федька. — Сегодня. Сейчас.

— А ты, значит, его провожаешь?

— Да.

— Ну что ж, — сказал Зубкин, — все правильно. Ты, Королев, ведь сам просился?

— Сам, — сказал я.

— Значит, исполнилась твоя мечта!

Можно было подумать, что он мне завидует, что у него была такая же мечта. Но она не исполнилась.

Мы подходили к залу Чайковского. Там стояла длинная очередь стариков, детей и женщин. Они ждали открытия метро. С четырех часов метро открывалось как бомбоубежище. Зубкин замедлил шаг и пристроился к печальному этому хвосту...

— Ну, бывай, — сказал он браво, — желаю успеха в борьбе с озверелым фашизмом.

Он протянул мне руку, я не взял ее. Зубкин покраснел. Мы пошли дальше.

— Подожди, — сказал Федька.

Я остановился. Федька вернулся к Зубкину. Он тронул рукой свои очки и, уставив толстый палец Зубкину в грудь, громко сказал:

— Зубкин! Ты сволочь!

Мы пошли дальше.

— Он тебя съест, — сказал я Федьке.

— Подавится, — ответил он. — Не мог я себе отказать в этом. Если бы я сдержался, я бы сам был сволочь.

— Не кипятись, — сказал я.

Мы пошли еще веселей, снова мимо нашего театра, и я еще раз увидел, как смеется на афише Валя. Скоро мы пришли в большую школу-новостройку, стоявшую в маленьком мохнатом от зелени дворе.

Народу здесь было видимо-невидимо, и особенно бросалось в глаза, что это в большинстве своем пожилой народ. Молодых было мало, очень мало, а вот морщинистых, толстых, седых было вполне достаточно. Все эти пожилые, толстые и седые люди были окружены женами и детьми. Во дворе стояла та особенная тишина, которая часто бывает в приемных больниц, когда человек знает, что ложиться на операцию пужно, это неизбежно, тут ничего не поделаешь и все это на пользу, во имя здоровья и, может быть, самой жизни. А все-таки внутри у тебя сиротливо, и боязно тебе и торжественно. Близкие люди смотрят на тебя с любовью и страхом, с надеждой. И ты сам ощущаешь, что ты уже не с ними, а там, за чертой, ты сел на пароход, плывущий в неведомые суровые края, низко и протяжно запел гудок, швартовые отданы, судно отваливает от дебаркадера и на

берегу осталась твоя прежняя милая жизнь с васильками и веснушками. По мере того как пароход выходит на середину реки, струна, связывающая тебя с берегом, натягивается все туже, становится все тоньше, и от этого больно, но ты знаешь, что струна эта не лопнет никогда, она только истончается от расстояния и времени и пронзительней делается боль.

Я пошел в глубь двора, где стояли столики с цифрами и буквами, я разыскал свою литеру, отметил ее и спросил у человека в железных очках, что мне делать дальше. Он сказал:

— Ступай, Королев, за дом. Там котелки выдают, получи себе. Ты теперь под моим началом будешь, я твой командир. Бурин Семен Семенович. Жди во дворе комапды.

И он улыбнулся мне, но тут же насупился. Видно, считал, что командиру не к лицу улыбаться.

Я пошел за Федькой, потом мы вместе пошли за котелком, и Федька ни с того ни с сего взял котелок и себе. Он совсем отрезвел, был угрюмый и все время поправлял очки. Мы стояли во дворе и ни о чем уже больше не говорили, а я все думал, что во дворе много, очень много женщин и как же это Валя сидит сейчас дома, или репетирует, или слушает интимные песенки, когда я стою тут в сапогах, у меня уже натерты ноги и котелок в руке, и скоро скоро поезд грянет, и прости-прощай, прощевай пока... Мне было непонятно ее отсутствие, но я не ругался, не клял, просто я совершенно ничего не понимал.

Так длилось довольно долго. Наконец ко двору подъехали несколько старых грузовиков, раздалась команда: «По машинам!», «Второй взвод ко мне». Я протянул Федьке руку, и он пожал ее. Мы обнялись. Котелки гремели в наших руках во время объятия, я взял Федькин котелок и нацарапал на нем ножом: «На память» — и расписался. На зеленой краске было приятно резать, и получилось совсем неплохо. Федька еще раз пожал мне руку, спял очки и стал их протирать уголком пиджака. Я побежал строиться. Началась переключка. Потом мы сели в машину, поехали на Киевский вокзал, повыскакивали из машин и погрузились в вагоны. Провожающих не было. Мы сидели кто на скамейках, а кто на полу па корточках, еще незнакомые, еще не сдружившиеся, но уже связанные одной солдатской ниточкой. Вечерело, и за окном было слышно, как поездная бригада постукивает молоточками по колесам, и тихий чей-то разговор:

— Отправляемся?

— Да, с минуту осталось.

В это время в дверях нашего пахнущего карболкой вагона появилась стройная маленькая женщина... Она остановилась, держась за концы накинутого на плечи полушалька, и поглядела темными исплакавшими глазами в глубь вагона. Негромким тоскливым голосом женщина крикнула:

— Василь Сергеич, ты здесь? Отзовись!..

Тотчас откуда-то из темноты кто-то испуганно откликнулся:

— Галя?

И, шагая прямо по ногам, мимо меня пробежал высокий седой человек. Женщина прильнула к нему, было слышно, как она плачет. Седой человек поднял ее на руки, как маленькую, и вынес из вагона. Состав дернулся, седой вскочил на подножку, что-то неразборчиво крича, за окном бежала маленькая женщина, держась за концы стянутого на груди платка, колеса тархтели, поезд набирал скорость. Мы поехали.

5

Тепло было в этом трясущемся вагоне, тепло и уютно. Где-то в самом отдаленном уголке горела единственная тусклая лампочка, в полураскрытые окна задувало прохладительным ветерком, слажо и ново пахло махоркой. Высоко в синем небе зажглись бледные звезды и побежали за нами. Я смотрел на них, смотрел неотрывно, и, хотя в вагоне было чересчур тесно и в общем очень неудобно, я чувствовал, что здесь уже поселился и жил невидимый, но горячий дух солдатского братства. И я сразу пошел с ним на сближение, я раскрылся ему, и мне тотчас стало спокойней, и даже душевная боль как будто немного притупилась.

Я старался не думать о Вале, просто сидел в темноте и вроде дремал. Я в общем дьявольски устал за эти мои последние сутки. Я привалился к стене, осторожно протянул ноги и задремал чуть-чуть покрепче, и тут-то оказалось, что прошедшие сутки не отпускают меня, и, дремля и качаясь вместе с вагоном, я все звонил куда-то в полусне, звонил, звонил и не мог добиться ответа, и исходил бесильным отчаянием и сердечной тоской.

Видно, кто-то, проходя по вагону, толкнул меня, и я

проснулся от несильной боли в боку. В вагоне стало еще теплей и немного светлей. Прямо против меня на уголышке сидел русоволосый складный парень с простым и добрым лицом. Он снял с себя верхнее и сидел в одной майке, сверкая мощным разворотом белых плечей и бильярдными шарами бицепсов. Маленький человек, которого в полумраке можно было бы принять за мальчишку, маленький, но вполне взрослый человек, с седеющими висками, в огромном кожаном пальто и в такой же кожаной кепке, сидел рядом с русоволосым богатырем. Кепка спадала на уши маленького, и рукава его пальто были много длинней рук. Тут же, сложив на коленях загорелые мосластые руки, сидел человек, на три четверти состоящий из буйной ячменного цвета бороды. Я подумал, что такая борода немыслима без ярко-голубых глаз, похожих на цветок льна. Да, глаза у этого медведя были льняные, голубые, веселые, смекалистые, — такие глаза имеют только бывалые, настоящие люди, и мне очень понравились Лен и Ячмень. Но там была еще и Кукуруза. В улыбке человек обнажал ряд ровненьких, уже пожелтевших, как кукурузные зерна, зубов. За ним некто высокий в сером с лошадиной челюстью, дальше виднелись бухгалтерский профиль, ежиковая голова, орлиный нос, слоновое ухо и много, много еще...

— Надо спеть, — сказал маленький человек и вздохнул, — надо спеть хорошую песню.

— Верно, — сказал сидевший в майке, — валяй, Тележка, затягивай!

Меня поразило, что они уже были знакомы, были на «ты» и что у них даже и прозвища какие-то появились.

Маленький человек закрыл глаза.

Там вдали за рекой
Загорались огни...—

начал он, и в вагоне сразу стало тихо, и над перестуком колес поплыл, зазвенел тонкий качающийся голос маленького человека, запевавшего первую нашу общую песню, —

В пеще яспом
Заря догорала...

Он перевел дыхание, получилась маленькая пауза, все мы вдохнули воздух и —

Сотня юных бойцов

(это пели уже все)

Из буденновских войск
На разведку в поля поскакала...

Когда повторяли во второй раз, русоволосый парень
взвился голосом куда-то высоко-высоко, в самое поднебесье,
словно задумал совсем от нас улететь, —

Из буденновских войск...—

но его удержал на земле чей-то глубокий темно-синий бас:

На разведку в поля поскакала...

И тут мы все стали глядеть на маленького человека,
стали глядеть с надеждой, нетерпеливо, торопя его и по-
нукая, поощряя и прося...

Они ехали молча
В ночной тишине,
Ах, по широкой
Украинской степи...

С виду бы совершенно спокойно повел рассказ дальше
маленький человек, но все мы знали, что встреча и бой не-
минуемы:

Вдруг вдали
У реки
Засверкали
Штыки —
Это белогвардейские цепи.

И тут маленький человек заторопился, он пел, захле-
бываясь от ветра, свистящего в ушах, и дрожа от бешеной
скачки:

И без страха
Отряд наскочил
На врага!..
Завязалась кровавая битва...
И боец молодой
Вдруг поник головой,—
Комсомольское сердце разбито.

Теперь песня уже не гремела, она стлалась по низким
волнам седого ковыля:

Он упал
На траву,
Возле ног у коня,
И закрыл свои карие очи...
— Ты, конек вороной,

Передай, дорогой,
Что я честно
Погиб за рабочих!

Слушая эту песню, я пел ее вместе со всеми и думал, что это хорошая песня, что ее не забыть никогда и что теперь пришла моя очередь ее петь. То дело давно было, в восемнадцатом году, а теперь уже сорок первый, но это все равно, — пришла моя очередь, и пусть это будет не так красиво, без тонконогих быстрых лошадей и без свиста серебряной сабли, все равно я горжусь тем, что пришло время, пришла моя очередь и я пою эту песню вместе с моим отрядом и без страха иду на врага. И может быть, думал я, у меня когда-нибудь будет сын, и я научу его этой неумирающей песне.

...Тусклая лампочка вдруг часто замигала, поезд как будто споткнулся на ходу, залязгали, набегая один за другим, буфера, и мы остановились.

Тотчас же от дверей вагона раздался негромкий, но повелительный голос:

— Выгружаться. На платформе повзводно стройсь!

Один за другим мы протиснулись к выходу и попрыгали на платформу. В этой толчее и суете я потерял своих новых товарищей и, когда спрыгнул вниз, отбежал два шага в сторону и встал, озираясь по сторонам. Было здорово темно. Тучи плотно задернули небо, и в воздухе запахло крепким спиртовым запахом ночного дождя. Две-три капли, тяжелые как монеты, упали мне на лицо. Я не знал, куда мне идти, не узнавая в этих суетящихся в темноте тенях никого из моих товарищей по вагону. Вдруг откуда-то слева донесся протяжный и требовательный голос:

— Второй взвод, ко мне-е!

Я обрадовался этому голосу как родному и побежал к нему. У палисадника я остановился, узнав в кричащем человеке командира Бурина. Он раскинул руки и крикнул:

— Ста-а-новись!

Я встал в строй. Дождь усилился. Послышалась команда: «Направо! За мной ша-гом арш!» — и мерное похрустыванье наших шагов. Мы обогнули палисадник, прошли позади станционного здания и снова услышали строго-заботливый голос взводного:

— Под ноги! Ноги!

Впереди идущие чуть замешкались. Потом и я перепрыгнул через какой-то брус, взвод свернул вправо, прошел мимо плоских и длинных амбаров, обогнул молчаливую

группу огромных ветел и вышел на мягкую мокрую, пачинающую раскисать от дождя дорогу.

Сзади кто-то сказал:

— Мы на фронте.

6

Мы шли через темную дождливую ночь по размытой, вязкой дороге, и я чувствовал, как набухает от дождя мой повенский ватник и вьедливая, холодная сырость просачивается сквозь него. Лямки вещевого мешка натерли ключицы, и они ныли и саднили. Я поминутно оступался, спотыкался, терял равновесие и хватался за товарищей по шеренге, чтобы удержаться на ногах, но все это была бы ерунда, если б не ноги. Еще сегодняшним далеким утром сапоги начали свою черную работу, и они не прекращали ее ни на минуту, скребли и натирали мне своими каменными задниками пятки. Но по сравнению с теперешней болью утренние ссадины были просто пустяки. Сейчас сапоги разрушали мои ноги по-серьезному, и я понял, что мне несдобровать, что с этим делом не шутят. Я шел не видя дороги, а ноги мои грызла страшная боль, каждую минуту я говорил себе, что не дойду, что больше уже не могу сделать ни шагу, и все-таки шел.

Я не знаю, сколько это продолжалось — наверно, очень долго. Темнота все сгущалась, мы шли через самую толстую завесу ночи, был слышен наш недружный, разрозненный шаг, и впереди иногда что-то перазборчиво выкрикивал взводный.

Наконец мы втянулись в какую-то маленькую настороженную деревушку, и стало известно, что здесь мы будем почевать.

— Да в любом сараюшке,— говорил кому-то человек (по голосу я узнал ячменную бороду. Он шел почти рядом со мной). — Сено, солома, сухо, — чего еще надо? Огоспимся, а там дале пойдем, к месту назначения...

Я сказал голосу:

— Я с вами пойду.

Он живо откликнулся:

— А то с кем же? С нами, с нами, конечно. Вон и Тележка с нами, и Лешка, да и ты тоже. Мы вроде как своя компания. Тебе как фамилия?

Я ответил. Он сказал вдруг важно, и мне показалось, что я вижу в темноте ячмень и леп.

— А меня будешь звать Степан Михалыч, я постарше тебя.

Этот разговор очень пришелся мне по душе. Хорошо, что уже есть своя компания и что я тоже в компании, а я этого совершенно не знал. Я теперь шагал особенно внимательно и все поглядывал в сторону Степана Михалыча.

Мы шли еще и еще, кружась по деревне и плутая в ее переулках, и случайно набрали на колодец, и услышали скрип, и увидели маленький огонек. И тотчас к колодцу побежали прямо из строя многие из наших ребят. У меня давно уже пересохло горло и во рту было сухо, хоть помирай. Пот бежал по лицу и сейчас же высыхал, — такой я был разгоряченный, а дождем не напьешься, нет, особенно на ходу, так что я вместе с другими тоже отбежал к колодцу.

Там стоял маленький керосиновый фонарик. Как он дожил до нашего времени — непонятно, такой он был старомодный, древней формы, как паровоз, на котором ехал Стефенсон. Колодец был обыкновенный журавль, распорядилась здесь молодая женщина: она опускала легкое ведерко вниз, ловко перебирая руками, как будто мерялась в чирика, жестяное ведерко шлепалось где-то неглубоко, и женщина подымала его кверху. Подавая нам воду, женщина глядела на пьющих, и из прекрасных огромных ее глаз бежали небыстрые слезы. Мы пили из ее теплых родных рук чистую холодную воду. Старые, молодые, хорошие или плохие, мы все пили из ее рук, это была наша женщина; и хотя она была молодая и очень красивая, я услышал, как старый человек с толстым носом сказал ей, отдавая ведерко:

— Спасибо, мать.

Я напился воды досыта, а все стоял. Жалко было уходить. Здесь на ветру, у маленького фонаря, в брызгах и скрипе старого колодца, сияли добрые, прекрасные глаза, они отогревали душу, и не хотелось уходить. Но откуда-то издадала раздался негромкий, но слышный тенорок Степана Михалыча:

— Мни-тя-а!..

Я взглянул на женщину, она улыбнулась мне сквозь слезы, я кивнул ей и побежал на зов, прихрамывая сильнее, чем обычно...

Это был довольно большой сарай, наполовину набитый

соломой, и в темноте уже пахло черным хлебом и слышно было, как возятся люди, шурша соломой и устраивая себе ночлег. Слышно было уже сладкое позевывание с подвыванием, и звяканье отстегиваемых ремней, и только что народившийся ядреный храп.

Я сказал наугад:

— Степан Михалыч?

Он как будто ждал меня.

— Митька? — отозвался он строго откуда-то слева.

— Ага, — сказал я и двинулся к нему.

— Шляешься, — сказал Степан Михалыч. — Иди сюда, тут вся наша публика. Иди, малый, не бойсь. Тележка, посунься-ка малость. Лешка, пусть-ка он с тобой ляжет.

Степан Михалыч был за старшего. Все его слушались.

— Давай сюда, — сказал Лешка.

Я пошел на его голос и, дойдя, опустился на солому. За моей спиной солома стояла твердой колючей стеной, на нее можно было опереться. Надерганная из этой стены, она лежала подо мной как хрустящий роскошный пуховик. Мне казалось, она светится в темноте небывалым золотым светом.

— Еще суток двое пройдет, пока до места доберемся, — сказал Степан Михалыч. — Есть-то хочешь, малый?

— Нет, — сказал я, — устал...

— Отдыхай, — сказал Степаныч, — устал, так отдыхай.

Я снял с себя ватник и положил его в головы. Теперь я пытался снять сапоги. Они не давались, и я сопел от напряжения.

— Давай помогу, — сказал кто-то рядом, и на фоне открытой двери я узнал маленького Тележку.

Я сказал:

— Не надо, я сам.

— Давай я, — сказал лежавший рядом Лешка, — сиди, Тележка.

Он встал на колени и помог мне стащить сапоги.

Снять носки я побоялся, потрогал только руками, носки прилипли к пяткам, и я знал, что под ними раны.

— Ноги сбил, — сказал я, — стер к чертовой матери, еле дошел.

— Ноги надо беречь, за ноги солдата на губу сажают, — сказал Степан Михалыч.

— Ну и сапожище же, — сказал Лешка, — тут сотрешь! Как из листового железа.

— Ты, Лешка, — опять вмешался Степан Михалыч, — ты завтра разбей ему, ведь погибнет.

— Ладно, сделаем, — сказал Лешка. Он помолчал, а потом спросил, чуть придвинувшись, как бы уже заводя разговор, касающийся только нас двоих: — Парень, а ты кем?

— Маляр я, — сказал я, — в театре маляр.

— В театре? Вот интересно! — живо воскликнул Лешка. — Там всегда интересно. Артисты... Слушай, скажи, верно говорят, что артисты, когда на сцене плачут, они себе незаметно глаза луком натирают, чтобы слезы текли?

— Брехня, — сказал я.

— А артистки красивые? — спросил Лешка.

— Красивые.

— Все?

— Все.

— До одной?

— До одной!

— Врешь.

— Леша, — спросил я, — а ты кем работаешь? Кто ты?

— Я разнорабочий, — сказал он, — на заводе болванки таскаю. Делу еще не выучился. Года не те, на фронт и то года не подошли.

— Выучись, — сказал Степан Михалыч, который, видно, слушал нас, — выучись и будешь инженер или, как Тележка, архитектор.

— Воевать нужно, — сказал Тележка, — вам понятно? Нужно воевать, а мы что? Грыжевик да хромой, младенец да старик, да изжога...

— Не скажи, — сказал Степан Михалыч, — ты, может, и грыжевик, а я изжога, а мы все равно дело сделаем. Мы свое дело сделаем. Не скрыпи, Телега.

— Я не скриплю, — сказал Тележка, — не в том дело. Просто хочется дать больше, чем можешь, понял? Больше и еще в два раза больше.

— Это-то я понял, как не понять. Это в тебе душа горит, рвется душа! Это понятно, это я вижу!

— Всё-то видите, всё-то вы знаете, дорогие наши Степаны Михалычи, — вздохнул Тележка. — Не вахтер с «Самоточки», а чистый профессор кислых щей. Все про людей понимает.

— Не строй из себя, — сказал Степан Михалыч, — брось смешки. Не глупей вас.

— Да нет, я серьезно, — сказал Тележка и снова вздохнул. — Может, поспим?

— Пора, верно, — сказал Степан Михалыч. — Мить, ты что, уснул, что ли?

— Да нет, — сказал я, — нога болит.

— А ты где ее взял... эту твою... хромость-то? -- деликатно, боясь обидеть, спросил Лешка.

— В детстве. Машиной стукнуло...

— Беда, — сказал Степан Михалыч.

— Но он ловко шкандыбает, — заступился Лешка, — ничего не скажешь, управляется. Это как у тебя получилось? — Он, видно, уже меня спрашивал. Но мне не хотелось об этом говорить, и я сказал:

— В другой раз, Леша. Спать охота.

Он ничего не ответил, замолчал. А мне уж очень не хотелось вспоминать тот день. Не хотелось, но оно само пошло. Все-таки я снова увидел, какой я был тогда маленький, — я еще поднимался на цыпочки, вставал на приступку, чтобы позвонить домой. На дворе было солнечно и весело, мы играли с ребятами в салочки. Отец вышел из дому с соломенной корзинкой в руках, он шел на рынок, а мне всегда нравилось ходить с ним, не только на рынок, а куда угодно, и, когда я увидел его, я помчался к нему и уцепился за корзинку и стал просить его взять меня с собой. Но отец сказал, что ему нужно очень быстро обернуться и что я буду только мешаться под ногами. И я отстал, и он вышел из ворот, помахал корзинкой, а мне вдруг стало обидно и тоскливо, и я побежал посмотреть, как он свернет за угол. На улице было мало народу, и я видел, как отец свернул за угол, и стал возвращаться, а в это время из каких-то ворот задом выскочил грузовик и огромной своей шиной переехал мне левую ногу.

Когда отец вернулся с рырка, я уже лежал в больнице. И я долго там лежал, а когда вышел, уже был хромой. Отец никогда не мог простить себе, что не взял меня тогда. С тех пор он всюду меня брал и всегда держал меня на коленях, или если это было нельзя, то старался погладить по голове. И когда он меня так гладил, мама всегда плакала...

Я лежал в сарае, в темноте, закинув руки за голову, укрытый соломой, рядом со мной лежал разнорабочий Лешка, отдавая меня своим молочным дыханием, за широко открытыми дверями в огромном небе бегали рваные тучи, дождь возился в соломе, как осенняя мышь...

Утром нас снова построили, и мы, отдохнувшие за ночь, пошли дальше, и двигались довольно бодро. Ноги мои еще болели, но Лешка перед выходом взял у меня сапоги, долго колотил камнем, в конце концов раздробил чугунные задники и насовал по полпуда соломы в каждый сапог. Сейчас я шел почти не страдая и чувствовал себя как в раю. К тому же и утро было веселое: светило солнце, молодые облака разбегались по небу врассыпную, словно стараясь поскорее скрыться от строгого хозяина. С небольшими привалами шли мы почти весь день, и наконец нам сказали, что мы пришли.

Это было огромное поле, распластавшееся подле небольшой деревушки, стоявшей на двух берегах маленькой речки, от нее метрах в пятистах. Мы остановились на этом поле и вытянулись длинной неровной пестрой шеренгой. Теперь на солнце хорошо была видна наша разноперая одежда, возрастная наша путаница и полная несогласица во всем, начиная от манеры двигаться, до манеры стоять вольно. Нет, это была не армия, куда там, никакого сравнения! И у меня снова заняла старая косточка обиды на судьбу, не давшую мне стать настоящим солдатом.

Тем временем среди нас появились люди с веревками и колышками и стали натягивать эти веревки и колышки по одной прямой, только им одним ведомой линии. Это продолжалось довольно долго, шеренга наша расстроилась, многие уже сидели на земле или лежали, покуривая. Вдруг мы услышали звук автомобильного мотора, и прямо к нам, переваливаясь через кочки и ухабины, откуда-то выскочила маленькая «эмка», по уши заляпанная грязью. Машина не успела еще остановиться, как из нее вырвался человек с измятым, желтым, нездоровым лицом. Человек этот взбежал на пригорок, повернулся к нам лицом и заговорил. Он был довольно далеко от меня, сильный ветер хватал слова у самого его рта и отбрасывал на правый фланг, и я почти ничего не слышал. Но по тому, как крылато взметывались руки этого человека, по злому, дикому напряжению всего его тела было видно, что говорил он хорошо. Он потрясал кулаками и показывал в землю, он грозил врагу, и приказывал, и вел нас за собой, и, когда правофланговые нестройно закричали «ура», мы, ничего не слышавшие, но хорошо почувывшие ненависть, пылающую в сердце оратора, мы тоже крикнули «ура».

Подъехали грузовики, нам роздали лопаты, и человек, говоривший речь, первым схватил лопату и со страшной силой вонзил ее в землю. Он выворотил здоровенный ком, было слышно, как трещал дерн. Не раздеваясь, не ожидая команды, мы похватали свои лопаты и накинулись на землю. Земля сотряслась от наших ударов. Человек, говоривший речь, вскочил в машину, и она поскакала вдоль фронта работ. Вслед за колесами катилось горячее «ура». Мы рыли землю, мы копали, мы строили рвы, эскарпы и контрэскарпы... Как мы хотели, чтобы здесь, о сделанные нами укрепления, споткнулся и сломал бы свои омерзительные лапы коричневый паук! В этом был смысл работы, в этом была цель нашей жизни, и нас нельзя было остановить. Это было вдохновение. Потное, алчное до успеха, до осязаемых результатов.

Через час огромный вал свежееотрытой коричневой земли протянулся по трехверстному фронту. Это было ослепительное начало. Мы смотрели и не верили, что это сделали мы. Мы гордились этой комковатой, неприбранной землей и, хотя самое трудное было впереди, мы уже видели, что сможем — можем, черт побери! Вот они, результаты нашего труда, они пахнут сыростью, в них копошатся дождевые черви, но намечена первая линия огромного рва — значит, дело будет доделано и сослужит свою службу.

Я захотел пить. Река была неподалеку. Низкий неказистый кустарник рос на ее берегу. Спустившись, я увидел нашего Тележку. Он сидел сняв шапку и распахнув грудь. С седых его висков сбегали струйки, под глазами лежали лиловые тени, щеки пылали. Небольшой кружечкой Тележка черпал воду из реки и пил. Я взял у него кружечку.

— Митя,— сказал Тележка, кладая зубами,— ты ноги сбил, а я руки натер до крови, два сапога пара.

Он показал свои руки. На ладонях были огромные, уже успевшие лопнуть волдыри, из-под них выглядывала нежная, розовая, вся в кровавых ссадинах кожа.

Из-за куста вышел Степан Михалыч.

— Надо перебинтовать,— сказал он.— Не набрасывайся на лопату, пе жми, не в том дело. Здесь умом надо, а так ты совсем из строя выйдешь, Телега...

Тележка сидел и смотрел на реку.

— Меня знобит,— сказал он.

— Ты эту воду пил?!— закричал Степан Михалыч.— Ну что мне с вами делать, интеллигенция необразованная? Ведь она речная, зябкая, в ней бог вещь что плавает.

Ведь это риск! Не смей пить!— крикнул он мне и вышиб кружечку из моих рук.— Привезут воды или отведут на ночевку — колодезной попьешь! Посдыхаете тут, а кто работать будет?

Я прополоскал водой рот, зубы занули, заломило челюсти. Я с удивлением посмотрел на хлипкого Тележку,— как он мог пить такую?

Мы снова вернулись на место и стали копать. Оратор давно уехал, многие бегали по нужде за кусты, первый порыв пролетел, и на нашем участке как бы наступили будни.

В это время к нам пришел еще один парень (я уже видел его издали). Он был в очках, с наискосок сломанным передним зубом, щегольски одетый в галифе и ковбойку.

— Кто здесь отделенный?— спросил парень.

Мы переглянулись. У нас не было отделенного. Лешка сказал:

— Пусть Степан Михайлович.

Парень в очках сказал:

— Норму задания будете получать на пятерых. Я пятый. Меня Бурин прислал. Прошу любить и жаловать — Сергей. Любомиров.

Степан Михалыч сказал:

— Студент?

Парень сказал:

— Откуда вам это известно?

— По запаху чую,— улыбнулся Степан Михалыч,— во мне рентген сидит на вашего брата. Становись.

Любомиров снял свитер и обнажил желтые неширокие плечи с рельефно выступающими узкими тугими мышцами. Не торопясь он взял лопату и отрезал аккуратный полновесный ломоть земли и аккуратно, как пекарь только что испеченный хлеб, ссунул эту землю позади себя. Степан Михалыч сказал:

— Вполне.

Мы стали работать впятером. Мы работали так почти до вечера, и у нас дело здорово двинулось вперед. Наша пятерка ушла почти по пояс в землю, когда Тележка отложил лопату в сторону и сел на сырую землю.

— У меня температура,— сказал он, и все мы услышали его хриплое дыхание,— у меня, наверное, не меньше тридцати восьми.

— Час от часу,— сказал Степан Михалыч,— говорил я тебе.

Лешка положил свою выпачканную землей ладонь на лоб Тележке.

— Ага,— сказал он,— можно олады печь.

— Мне бы попить,— сказал Тележка тихо.

— Терпи,— попросил его Степан Михалыч.

— У меня там фляжка, я сейчас,— сказал Серега Любомиров и ловко выскочил наверх,— у меня есть немного кипяченой.

Он убежал. Мы стояли вокруг маленького хилого Тележки, смотрели на его взъерошенные редкие волосы и не знали, что делать. Тележка дышал ртом, и хрипы резвились в его груди.

По гребню земли пробирался человек в перевязанных бечевками бутсах. Торс его был обнажен и разукрашен разнообразной татуировкой. На груди, конечно, «Боже, храни моряка» и «Не забуду мать родную» — литература не новая. Длинный, кривой, как турецкая сабля, нос.

Человек подошел к нам и уставился на Тележку спокойным и наглым взглядом выпуклых глаз.

— Доходяга,— сказал он, мотнув носом в сторону Тележки,— фитилек. Когда догорит, отдайте мне его пайку.

— Здесь тебе не лагерь,— сказал Тележка,— иди, блатной, я еще тебя переживу.

— Я не блатной,— сказал человек нагло,— осторожней выражайтесь...

— Каторжан ты,— перебил его Степан Михалыч,— самый что ни на есть каторжан. Форменная каторга.

— Ну отделенный!— восхищенно засмеялся Лешка.— Ведь как прилепил! Каторга — каторга и есть.

Человек на гребне, видно, не захотел скандала.

— Наплевать на вас,— сказал он презрительно,— до следующего раза!

И ушел. А к нам спрыгнул вернувшийся Сережа Любомиров. Он открыл фляжку и дал ее пососать Тележке. Тележка устал сосать и сказал, отворачиваясь:

— Себе оставьте.

Наверху стоял Семен Семеныч Бурин — наше высшее начальство. Его привел с собой Сережа. Бурин сказал сверху:

— Обычная история. Работает горячо, вода ледяная. Пьет эту воду, устал, вспотел, ветер, а он грудь растворяет. Чего же ждать? Только воспаления легких. А ну, подсадите его сюда!

Мы стали подсаживать Тележку, Бурин протянул ему руку.

— Сегодня ночуешь в школе со мной,— там штаб. Таблетки, то да се. Если завтра полегчает, поставлю на легкую работу: гальюны будешь рыть. Не полегчает — отправлю в Москву.

— Полегчает,— сказал Тележка,— а что это за птица — гальюны?

— Это морское выражение,— серьезно ответил Бурин,— а по-нашему, по-пехотному,— значит отхожие места.

— Но почему же именно я?— вскинулся Тележка.— Людей мало?

— Не разговаривать, слабосильная команда!— сказал Бурин.— Счастья своего не понимаешь! Иди за мной!

Он вроде бы улыбнулся, но спохватился, что командиру нельзя, и насупился.

— Сказал — и в темный лес ягненка поволок,— вяло пошутил Тележка и поплелся за ним следом.

8

Это просто удивительно — до чего у меня болело все тело. То есть не было буквально ни одного мускула, ни одного сустава, который не болел бы. Цирковые артисты называют это явление странным, царапающим словом: крепатура. Это случается, когда, давно не тренированные, они вдруг сразу, в один прекрасный вечер, бросаются в работу. Тут-то их и настигает эта самая «крепатура», явление крайней болезненности в мышцах, вызванное непомерной нагрузкой. Потом постепенно в результате ежедневной тренировки оно исчезает бесследно. Я, во всяком случае, надеялся, что оно исчезнет, потому что я так наломался за первый день нашей работы, что еле добрал до предоставленного нам овина и грохнулся на солому, чуть не воя от страшной разрывающей боли во всех мышцах. Руки я, к счастью, почти не натер, потому что всю жизнь у меня были довольно крепкие мозоли, да и краски растирать в десятилитровом ведре — дело не для слабеньких.

Но с ногами было худо. Утром Лешка подарил мне пару новых портянок, но теперь, сняв сапоги, я с трудом оторвал портянки от пяток. Было темно, рассмотреть я не мог, да и все равно заживить-то невозможно,— ведь рабо-

тать пужно каждый день, а босяком много не накопишь.

Разговоров вокруг меня уже не было слышно, все спали, встать предстояло в пять утра, и я растянулся на соломе рядом с Лешей. Я стал засыпать и, засыпая, подумал, что вот сон сразу одолевает меня и я могу не думать о Вале. Война и моя работа на войне вытесняют ее из моей жизни. Эта мысль задела меня самым тоненьким краешком, она словно пролетела мимо моего сознания, едва коснувшись его, но потом покружилась где-то и прилетела обратно. На этот раз она дала знать о себе сильным и грубым толчком в сердце, и сна как не бывало. И я опять стал думать о моей невсзучей и удивительной любви.

...Я нес тогда за нею цветы.

Первый взрыв аплодисментов отбушевал, а на стихающую, вторую волну, когда зрители аплодируют уже от желания убить время, которое все равно пропадет в очереди на вешалку, на эту волну Валя не выходила. Она пробежала мимо меня и сказала на ходу:

— Цветы принесите мне, ладно?

Я стоял у кулисы возле выхода. Она успела еще и улыбнуться мне, и я как обожженный побежал к середине сцены, где стояли ее цветы. Это была большущая безвкусная корзина, в ней застыли, словно сделанные из маргаритового крема, гортензии. Эти ресторанные цветы, мертвые, ничем не пахнущие, всегда меня раздражали, и все же я поднял эту тяжеленную пошлость и понес, хромя и спотыкаясь. Когда добрел до Валиной маленькой двери, я, не стучась, толкнул ее ногой, вошел и сразу опустил корзину на пол. Когда я разогнулся, Валя стояла передо мной. Видно, она только что сняла с себя театральное платье и халат успела надеть только в один рукав.

Я до сих пор не понимаю, что со мною случилось.

— Извините,— сказал я и схватил ее за плечи.

Я хотел поцеловать ее, а она отворачивалась, и я все время думал, что сейчас она вырвется и я поцелую ухо или подбородок, и это будет самое ужасное. Все это мелькало в моей голове со страшной быстротой. Но все-таки я поцеловал ее в губы. Да, это было так. Потом выпустил ее. Она надела халат как следует и сказала:

— Ну и ну! Смел, нечего сказать! Ступайте. Подождете на улице.

Я шел по коридору, и все, кого я встречал по пути, казались мне красивыми и добрыми, даже этот новый гусак, поступивший к нам не иначе как в поисках брони,

артист на роли молодых подлецов, фашистов и разных дантесов. Я прошел мимо него, совершенно одуревший, на улицу. Стал ждать Валию, и дождался ее. Она прошла мимо и процедила сквозь зубы:

— Перейдите на ту сторону и сверните налево...

И я опять молчаливо покорился ей. И пошел на ту сторону, и свернул, и догнал ее в темном переулке с подслеповатыми фонарями. И тут она подхватила меня под руку и прижалась ко мне.

Дома у себя она быстро все устроила, выпила водки сама и дала выпить мне, и такая она была веселая и простая, что даже странно было, почему ее в театре называют стервой...

Она налила еще водки. Я раньше мало пил, то есть совсем не пил, и меня нельзя было уговорить, потому что мне не нравилась водка, ее в общем-то противный вкус, но тут, у Вали, я пил как миленький, стоило ей только налить и предложить. Я живо научился. И вот она взяла налитую рюмку и, держа ее в своих длинных пальцах, отошла в глубь комнаты.

— Вы мой поклонник?— сказала она.

Я сказал:

— Это какое-то не такое слово. Поклонник — это ерунда...

Она поправилась:

— Я имею в виду, ну, знаете,— театральный поклонник! Болельщик... Вам нравится смотреть меня на сцене?

— Я всегда смотрю вас.

— Я знаю... Я всегда вас вижу. Ага, думаю, хроменький опять здесь.

У меня застучало в висках:

— Над этим не смеются.

Она отошла еще дальше.

— Байрон был хромым... Вы знаете, о ком я говорю?..

Я встал:

— Прощай, прощай, и если навсегда, то навсегда прощай...

— Ого,— сказала она,— смотри-ка, интеллектешко! Не уходите, с вами стоит пить. Тем более, что, по-моему, вы и еще кое-чем похожи на Байрона.

— Чем же?

Она села на край дивана, рюмка все еще плескалась в ее руках. Она сказала тихо и внятно:

— Байрон тоже был красивый...

«Значит, она уже пьяная,— подумал я,— пошла чепуху городить». Я так ей и сказал:

— Вы уже пьяная, да?

Она засмеялась, но тоже очень тихо и внятно, и потом сказала:

— Вот что: после всех ваших безумств там, в театре, нам ничего не остается другого, нам нужно выпить на брудершафт.

Я подошел к ней. Мы переплели наши руки и выпили.

И она поцеловала меня, а я ее... Трудно про это вспоминать.

А в ту ночь на дворе стоял май, я был совсем молодой, и я шел по моей прекрасной Москве, впервые в жизни пьяный и впервые в жизни познавший женщину, честное слово, впервые в жизни! И все-таки не было полного счастья во мне. Не знаю почему. Впрочем, к чему же при творяться, знаю. Прекрасно знаю.

Я все это понял много дней спустя. Я как-то лежал у себя на кровати, в окно начинал входить рассвет, и я вдруг подумал, что тогда, в первый вечер, она боялась пойти со мной рядом. Потом я подумал: а почему же она в театре никогда не разговаривает со мной, виду не подает, что любит меня? Ведь она же не замужем.

В общем, если мы были не в постели, мы были на «вы»...

И я любил, любил ее...

...А потом началась война. Я узнал, как бомбили Брест и Киев и как гибли тысячи людей. В это время начали бомбить и нас, Россию залило кровью, и я не находил себе места. Я пошел в военкомат, но меня не взяли, и это было хуже всякого оскорбления. Я был обречен на тыловое прозябание, я не находил себе места и метался по городу в поисках возможности попасть на фронт.

Были дни, когда казалось, что мне повезло: я сумел попасть в списки добровольцев кавалерийского корпуса, который формировался в Москве. У меня там был знакомый парнишка из осавиахимовских активистов, он-то и подсунул мою фамилию эскадронному. Я возликовал, начал ходить на Хамовнический плац и ждал окончательного формирования. Не хватало конского поголовья, лошадей проминали немногие ребята — старички этого дела, и все ждали: из армии обещали подкинуть конского брачку.

Я ходил на плац и стоял в сторонке у изгрызенной коновязи, все привыкли ко мне, и мечта моя, может быть,

и исполнилась бы, но я сам себя разоблачил. Однажды, когда я только входил на плац, мимо пробежал какой-то старшина и крикнул, подтолкнув меня в спину:

— Седлай Громобоя, скачи на Плющиху к Никитченке, он тебе пакет даст. Духом! Аллюр — полевой карьер!!

Не стоит об этом вспоминать. Ну его к черту! Они выгнали меня, едва увидели, как я вхожу в стойло. Этот сволочной Громобой за версту почуял, какой я кавалерист. Не успел я с уздечкой в руках войти к нему, как он тут же, без промедления прижал меня своим косматым боком к стенке и стал давить. В фиолетовом его глазу, в каждой кровавой прожилочке играла насмешка. Я застонал, пихая его кулаками, но он все нажимал и, наверно, раздавил бы меня, если бы кто-то не крикнул в это время настоящим, серьезным кавалерийским голосом:

— Приняты!..

Тут он сразу отскочил как ошпаренный.

В общем, меня выгнали, и комэск Иванов химическим карандашом вычеркнул меня из жизни добровольного кавкорпуса. И я ушел с Хамовнического плаца, сопровождаемый визгливым хохотом кобыл.

Да, теперь это вроде смешно, а тогда я думал — совсем пропаду.

Вале я про все это не рассказывал; она ходила в последнее время какая-то притихшая, словно оглядывалась, словно искала своего места. Мы встречались с ней по-прежнему, только, может быть, не так часто, как в мае, и я крепко верил, что она любит меня. Эта вера держала меня на поверхности, а то бы давно бросился с Крымского моста в реку. Я тоже продолжал искать свое место в этой войне и однажды услышал, что набирают людей в ополчение, рыть окопы в Подмосковье. Я быстро все разведаль, вцепился в глотку райкомщикам, и тут уж я своего не упустил, я своего добился, и меня зачислили. Нельзя рассказать, как я обрадовался, что хоть куда-нибудь годен. Я первый из театра уходил туда, ближе к войне, артисты еще только сколачивались в агитбригады или готовили репертуар для раненых бойцов, чтобы выступать перед ними в госпиталях. А в действующую армию, так сложилось, у нас пока никого не взяли.

И вот я зашел к Вале. Она сидела в своей уборной и учила какую-то роль. Когда я вошел, она сказала:

— Среди бела дня, могут войти, уходите...

Я сказал:

— Валя, прощай! Я послезавтра уйду в ополчение. Я сказал ей «ты», поэтому она поверила сразу.

Она спросила:

— А как же...

Я понял.

— Там хромота не мешает.

Тогда она медленно положила голову на гримировальный столик, прядь волос опустилась в пудру. Она плакала. И я почувствовал, что буду любить ее всегда. Я сказал ей, плачущей, придерживая плечом дверь:

— Завтра в девять приходи к аптеке. Проводи меня. Это прощание.

Она согласно качнула головой. Я вышел и отправился за разными справками, а весь следующий день мотался как проклятый, но к вечеру, к девяти, я был уже свободен, я купил всякого барахла для закуски и стоял у темной аптеки и ждал. Напрасно, зря стоял.

...Так и не удалось мне спать в эту ночь, хотя всего меня ломило и здорово ныли побитые ноги. Не вышло мне тогда спать в открытом ветру и звездам сарае, хотя все кругом давно уже спали, потому что вставать надо было в пять утра.

9

Когда где-нибудь в доме отдыха целый день забиваешь козла или когда в выходной выедешь с ребятами за город и тоже целый день собираешь землянику, то потом, ночью, когда земляника уже давно съедена или костяшки убраны, все равно перед глазами долго еще мелькают красные ягодиночки или белые очочки, и просто невозможно от них избавиться. Так было и сейчас. Я не мог просто лежать или просто отдохнуть на перекуре. Что бы я ни делал, в голове моей мерно взлетали лопаты. Лопаты. Лопаты. Лопаты. Они погружались в мягкую глинистую почву, сочно чавкающую под режущим лезвием. Они отрывали комья, цепляющиеся за родной пласт, они несли на себе землю, эти непрерывно движущиеся лопаты, они качали землю в своих железных ладонях, баюкали ее или резали аккуратными ломтями. Лопаты шлепали по земле, били по ней, дробили ее, поглаживали, рубили и терзали, заравнивали и подскребывали ее каменистое чрево. Иногда одна лопата, которой орудовал стоящий глубоко внизу человек, взлетала кверху, только

до половины эскарпа, до приступочки в стене, оставленной для другого человека, тот подставлял другую свою лопату и ждал, пока нижняя передаст ему свой груз, после чего он взмётывал свою ношу еще выше к третьему, и только тот выкидывал этот добытый трудом троих людей глиняный самородок на гребень сооружения. Лопаты, лопаты, только лопаты, ни бадей, ни блоков, ни тачек, шичего, кроме лопат. Дерьмо это было, а не лопаты. Они гнулись от жесткого грунта, у них были плохо зашкуренные рукоятки, часто ломающиеся и занозящие наши руки. Какая беспримерная сволочь равнодушно подсунула нам эти лопаты? Ведь мы вышли защищать наших женщин, наших детей, нашу Москву?..

И все-таки мы держались за эти лопаты, — это было наше единственное орудие и оружие, и все-таки что там ни говори, а мы отрыли этими лопатами такие красивые, ровные и неприступные ни для какого танка рвы, что сердца наши наполнялись гордостью. Эти лопаты, любовь к ним и ненависть, крепко сплотили нас, лопатных героев, в одну семью.

Постепенно, день за днем, я узнавал новых людей на трассе. Теперь я уже знал, что вон там, за леском, показывает небывалые рекорды казах Байсеитов, батыр с лицом лукавым и круглым, как сковорода. Ученые говорят, что нависающие веки у азиатов появились для защиты глаз от ветра и солнца. В таком случае Байсеитов защитился особенно надежно. Я его глаз никогда не видел. Две черточки, и все. Но им гордились, его знали все, и я гордился тоже, что знаю его. Я знал также, что слева от меня работает Геворкян, оператор из кино, знаток фольклора и филателист, а с ним рядом Ванька Фролов, голенастый пекарь, такой белый, словно непроявленный негатив. Вон частушечник, толстый, как сарделька, Сечкин, он любит показывать фотокарточку своих четырех ребят, похожих друг на дружку точно капельки. Это вот Киселев, печатник, он хворый — грудь болит. Вот неугомонный шестидесятилетний бабник — аптекарь Вейсман. Волосатый гигант Бибрик, задумчивый пожарник Хомяков. Масса ополченцев, такая безликая вначале, распалась для меня на сотни частичек разных, по-разному интересных, построенных на свой манер каждая. Снег падает, вон его сколько, сугробы, а каждая снежинка откована по-особому — протри глаза!

В эти дни установилась славная, почти летняя погодка. Здесь не было затемнения, налетов не было и бомбе-

жек, не было патрулей, ночных дежурств, и все мы немпо-го окрепли, подзагорели, налились в мускулах. Работали горячо, на совесть, потому что отчаянно верили, что делаем самое главное, помогаем своими руками, своим личным трудом ближнему делу победы. Так что настроение могло быть и ничего, но мешало, что не было радио и газет. Это очень нам мешало и срывало душевный настрой, люди все ждали чего-то, томились, болели сердцем за близких и за все общее, и при встречах, когда шли на работу, или домой, или на перекуре, все спрашивали друг друга: не слышал ли кто чего? А слышали, конечно, часто и все больше плохое...

Тяжело это было, люди тревожились и теперь уже не бросались молча в солому после восемнадцати часов труда, не засыпали сразу, нет. Теперь подолгу сидели, покуривали, вглядывались в темноту и разговаривали негромко. По вечерам и ночью на соломе — я заметил — говорят тоже тихо, настороженно, как будто враг близко, где-то рядом, и может услышать наши голоса и открыть по ним шквальный, смертельный огонь.

— Орел отдали, — сказал холодным ветреным утром Степан Михалыч.

— Да, — сказал Фролов, — прет, зараза, на Тулу... Есть сведения.

— Скоро сюда объявится, — сказал Лешка и улыбнулся. Ему казалось, что он шутит.

Но Сережка Любомиров крикнул так яростно, что стало жутко:

— Хрен ему в горло! Здесь ему конец!!

Мне вдруг стало тошно от одной мысли, что фриц может подойти так близко к Москве. Меня сразу всего покрыло испариной, и, в который раз кляня свою мешающую идти на фронт уродскую ногу, я взял лопату и пошел. За мною потянулись все, и мы снова начали работать, и работали сегодня особенно ярко, молча, без разговоров.

Дело было на новом участке, я уже выкинул с кубометр.

Лешка был где-то рядом. Мы с ним теперь крепко сдружились, потому что он был золотой, золотой человек, иначе не скажешь. Мы работали с ним на склоне. Вокруг торчало много пней, — видно, здесь сводили когда-то лес, а

фронт наших эскарпов тянулся как по ниточке, и если нам по пути попадались пни, то мы их корчевали.

Мы с Лешкой стали как раз корчевать огромный пнище. Пень запустил свои берендеевы пальцы глубоко в землю и не хотел вылезать. Мы собирались поотрубить ему все щупальца и спихнуть его в реку. Дело было нелегкое, мы с Лешкой сопели и пыхтели, не зная, как бы управиться половчей. В это время недалеко от нас раздался крик. Мы выскочили из окопа. За гребнем стоял Каторга. Увидев людей, он замахал руками и завопил:

— Крют! Давай сюда-а-а! Крот выкопался!

Мы сбежались и сгрудились вокруг Каторги. У него на лопате лежала маленькая черная шерстистая свинка. У нее был розовый подвижной пяточок. Свинка упористо шевелила передними сильными и когтистыми лапами. Городские жители, мы уставились на крота как на чудо. Лешка улыбнулся и наморщил лоб. Тележка присел на корточки, чтоб лучше видеть, Байсеитов сказал:

— Животная...

И на странное, ханское его лицо легла легкая, нежная тень.

Каторга пошевелил лопатой, чуть-чуть тревожа крота. Ему хотелось отличиться, наглый, кривой его нос висел в задумчивости. Наконец вдохновение осенило его, и он зарорал:

— Топить!

И, широко размахнувшись, подкинул крота к небу. Маленькая свинка взлетела, превратилась в точку и, описав кривую, булькнула в речку. Все это произошло очень быстро, и можно было расходиться.

Но Геворкян тихо сказал:

— А жаль. Крот — он ведь нашей породы. Слушай, он же землекоп.

По реке плыла щепочка. Щепочка вдруг клюнула, как поплавок, а через секунду рядом с ней уже торчало маленькое рыльце, это наш бодрый работяга крот подумал, что жизнь — это чересчур распрекрасная штука, чтобы расставаться с ней на заре туманной юности, всплыл и уцепился за щепочку. Лешка первый это понял и хлопнул себя по бокам и закричал, повизгивая от восторга:

— Ай, кротяга! Всплыл! Ай, чертова сопелка! Спасать!! — И в чем был, золотой наш Леха, пошлепал по течению вниз, зашел в воду, подождал и вытащил крота.

Он вынес его на берег, встал на колени и, подув зачем-

то на землю, положил крота. Крот трясся, и мы опять стояли над ним тесным кругом. Лешка сказал строго:

— Дайте солнца!

И мы раздвинулись, чтоб крот мог отогреться.

А Лешка снял сапоги, портки и трусы и стоял в одном ватнике, — мальчик с круглыми коленками.

Крот грелся, оживал, и все становилось на место.

Нужно было идти работать, и так сколько времени потеряли. Я прошел и задел Каторгу плечом. Я это сделал без умысла. Он посмотрел на меня и сказал, шикарно ухмыляясь:

— Ходи вежливо, жлобьяра. А то тебе выйдет боком. Я накопляю на тебя матерьял.

Я не стал ему отвечать. Я пошел к своему пню, стал с ним возиться и ждать Лешку.

11

А ночью вдруг задул северный леденящий ветер. Он сотрясал ветхий наш сарай, расшвыривал солому на крыше, и в открытые двери полетела сухая белая крупа. Мы проснулись полузамерзшие и сбились в кучу. Ветер пробирал до костей, было тоскливо, хоть вешайся, да иначе и быть не могло: на дворе стоял октябрь, проклятый октябрь сорок первого года, такой несчастливый для нашей земли.

— Теперь сарайной жизни конец, надышались вольным воздухом, — сказал Лешка и вздохнул. — Чуть рассветлит — надо в деревню перебираться.

— Переведут организованно, — сказал Тележка. Он уже давно вырыл гальюны на всю нашу армию и теперь снова жил и работал с нами.

Но Лешка, несмотря на свой незрелый возраст, был мужичок себе на уме. Предприимчивость так и кипела в нем.

— На бога надейся... — сказал Лешка с мудрой улыбкой.

Деревня Щеткино лежала немножко левее нашего фронта работ, километрах в полутора. Мы жили в ее гумнах, совсем неподалеку от крайних домов, не встречаясь с ее обитателями, занятые только своей работой, не имея никакой возможности выбиться из жестокого ее ритма. Мы уходили затемно и приходили в темноте. Полевая наша кухня окопалась в лесочке, там мы и ели. Деревня нам была не нужна, мы были сами по себе, они сами по себе. Знали

только, что стоит Щеткино на двух берегах расширявшейся в деревенской своей части речки, что большая часть деревни стоит на той стороне, что ближе к нашей трассе, и там же помещается наш штаб, и что есть еще малая часть Щеткина, как бы затыльная, заречная его часть.

В сарае становилось все холодней, но небо начало светлеть, и было уже видно, как серые, недобрые тучи всползли на небо. Мы все стояли у сарайных дверей и смотрели в поле.

— Сходим, постучимся, — сказал Лешка, — чем зяб-
путь, все лучше.

Он двинулся к двери. Я пошел за ним.

— А то посиди, — сказал Лешка, не оглядываясь, —
чего тебе-то. Я все сделаю.

— Я с тобой, — сказал я.

Мы пошли по узкой невидной тропке, по застывшей, сцепленной крепким заморозком земле. Было еще темно-
вато, и, хотя брезжило утро, казалось, что это сумерки и скоро настанет вечер. Деревня была голая и грязная, как немытая ладонь, вся какая-то нищая и пустая. Безрадостно было идти по ее неприветным улицам.

Дома были какие-то полуслепые, и по Лешкиной по-
ходке я видел, что ему неохота идти и проситься на ночлег ни в один из этих домов.

— Пойдем туда, за речку, через мост, — сказал он.

Мы спустились и пошли через мостик, ветхий, пугливо
вздрагивающий под нашими шагами, и, когда сошли с
него, поднялись немного в гору. Здесь у домов не было
даже палисадников, ограды дворов сплетены черт знает из
чего — из веток, из палок с надетыми на них ржавыми
банками, из обрезков старой кровли, разноцветных теси-
нок, хвороста и прочего барахла.

— Бедность, — сказал Лешка пригорюнившимся голо-
сом, — бедность. Толканемся сюда?

Я кивнул. Дом был серый, старый, с похилившейся на-
бок крышей, похожий на больного человека, которому уже
трудно держать голову прямо. В окнах мелькал слабый
огонек, — видно, хозяйка встала спозаранку и теперь рас-
тапливала печь.

Лешка взошел на крылечко и постучал. Дверь откры-
лась.

Лешка сказал:

— Баушк, мы хотим у тебя ночевать.

Она сказала:

— А вас сколько?

Лешка сказал:

— Ну, пятеро! Не замерзать же в сарае!

— Вы московские, что ль, ополченцы?

— Ну да.

— Прямо не знаю. Не знаю и не знаю. Изба-то махонькая, кроватев нету.

— Мы на полу, что вы, баушк.

— Было бы тепло, — сказал я.

— Топить-то мы топим...

— И мы когда дров притащим, — сказал я.

— Мы каждый день будем таскать, — сказал Лешка, — ведь мы из лесу ходим. Насчет дров не сомневайтесь, баушк.

— Прямо и не знаю. Тесно уж очень. А люди, видать, хорошие.

— Мы очень хорошие, — сказал Лешка, — мы платить будем вам, баушк, у нас деньги есть.

— Деньги это не надо, — сказала она, — стесняюсь я, плохо вам будет у нас. Ведь нас трое. Да вас вон сколько, пять душ!

— В тесноте да не в обиде. Верно, баушк?

— Это-то верно, — сказала она, и мне послышалась какая-то невысказанная обида в ее голосе.

А Лешка пошел с козыря:

— Мы вашей внучке сахарку будем давать, баушк.

— А когда придете-то? — спросила она. — Я полы вымою. А так у меня мальчик, Васька есть, ему если только сахарку, а внучек нет никаких...

— Мы вечером придем, — сказал Лешка, — вы только нам соломки патаскайте. Как стемнеет, мы придем.

— Ну, я буду в ожидании, — сказала старуха и протянула Лешке руку, — ребята вы больно участливые.

— До свиданья, — сказал я.

— Спасибо, баушк, — заключил Лешка.

— Да не зови ты меня баушкой, — вдруг встрепенулась старуха, — какая я баушка, я хозяйка, а не баушка. Это я неприбрапная, угрешняя, вот тебе и мнится все баушка. Я еще хоть куда!

Она улыбнулась тихо и несмело.

— Вы зовите меня теткой Груней, — сказала она, вдруг повеселев. — Ну, а вас как?

Мы назвали ей поочередно, и она сказала:

— Очень приятно...

Еще раз простившись, мы ушли. Несколько минут мы шли молча, а когда сбежали к мостику, протопали по нему на штабную сторону и пошли потише, я сказал:

— До свиданья, баушк. Спасибо, баушк. Уж вы как-нибудь, баушк! Верно, баушк! Мы, баушк, да вы, баушк.

Лешка схватился руками за живот, остановившись у края дороги, согнулся в три погибели.

— Сдохну! — закричал он. — Сейчас лопну! Ой, перестань!

— Что с вами, баушк? — сказал я.

— Замолчи, — орал Лешка, — умру! Я, говорит, еще хоть куда!

— Я вас не понимаю, баушк.

— Перестань! — застонал Лешка. — Ведь я подольститься хотел, повежливей чтоб выходило, понял, пет?

— Понял, баушк.

— Ой! — И Лешка снова схватился за живот.

Наконец отдышавшись, мы пошли с ним дальше.

— Устроились все же, — сказал Лешка, — теперь в тепле будем, а это, брат, великая вещь. Возьмем Сережку, Степан Михалыча и Тележку, напишем на доме — второе отделение второго взвода, и ура.

Я сказал:

— Надо бы Геворкяна к нам и еще казаха.

— Ага, — сказал Лешка, — обязательно. И Фролова бы хорошо, и хворого этого, как его, забыл фамилию?

— Киселев, — сказал я.

— Во-во. Его, — сказал Лешка. — И еврея этого, что баб любит, хороший мужик, и пожарника, конечно, Хомьяка.

— Давай, давай, — сказал я, — будем жить в одном доме тыща человек.

— А хорошо бы, — засмеялся Лешка, — я согласен. Гляди-ка!

Он показал пальцем в проулок. Там стояла замурванная деревенская лошадка ростом с небольшого ослика, а за ней, на земле, лежала телега, груженная бревнами. Телега лежала на боку, и, видно, бревна были увязаны ладно, похозяйски, потому что они не рассыпались, а только съехали набок и своею тяжестью перевернули телегу. Простоволосая девчонка в клочковатом полушубке пыталась поставить телегу на колеса. Она кричала на лошадь свирепым мужичьим голосом:

— Рразом! Давай! Ну, господа бога, давай же!

Лошадь корячилась задними ногами, тужилась, оставляя репицу, девочка налегала ключицей, а телега, конечно, оставалась на месте. Я пошел в проулок к этой девчонке, и Лешка пошел за мной. Мы подошли поближе. Девочка разогнулась, обернулась к нам лицом, и тут у меня похолодело в груди. Передо мной в стареньком рваном полушубке стояла васнецовская Аленушка. В руках ее был кнут, и она тяжело дышала, платочек висел на шее, держась одним концом. Так вот она какая стала, когда подросла! Мастер, написавший ее у ручья, наверно, не знал ее дальнейшей судьбы, вот почему так задумался он вместе с нею тогда. Теперь Аленушка уже заневестилась, ей можно было дать на вид лет шестнадцать, и как же была она красива, передать нельзя! Увидев нас, она перевела дыхание, поправила платочек и сказала хриловато и дерзко:

— Давай помогай, кавалеры!

Мы поставили ее телегу на колеса. Когда ставили, я видел рядом со своей Аленушкину руку, озябшую и красную и такую удивительно маленькую. Мы все кричали на бедную коняшку, и Аленушка кричала что-то дикое и устрашающее.

Потом она поправила волосы и сказала:

— Ай да мужики! Что значит мужики-то... Плохо бабам без мужиков!

Лешка сказал строго:

— Тебе сколько лет?

Она удивилась.

— А тебе на кой?

— Больно ругаться здорова. Не дело.

Она отвернулась и сказала, уставившись в забор:

— Это я без души и мысли. От тягости. А тебе не правится — вали отсюда.

Я сказал:

— Как вас зовут?

Она обернулась и посмотрела недоверчиво:

— Дуня. Табариновы мы.

Я протянул ей руку, и она тотчас, улыбаясь, протянула мне свою озябшую маленькую ручку.

Я сказал:

— Мы теперь у тети Груни будем жить.

— За речкой?

— Да.

— Там тише...

— Вот и хорошо.

— Кто как любит...

— Верно.

— Ну что ж. Спасибо.

Она взялась за вожжи.

— Не стоит, что вы. Увидимся?

Она снова посмотрела удивленно:

— А у вас есть желание?

— Есть.

Она ответила:

— Было бы желание, а там, бог даст, увидимся...

Она задергала вожжами, закричала на лошадь, быстро глянула на меня из-под шелковых, небывалых ресниц и пошла за лошадью, пошла такая маленькая и такая гордая и сама по себе. Только она уже не ругалась больше, нет, она только помахивала своим умильным кнутиком. А я остался и не мог двинуться с места, а рядом со мной стоял Лешка, и наверно, у меня был не совсем обычный вид, потому что Лешка вдруг толкнул меня и окликнул испуганно:

— Ну? Ты что? Окаменел, что ли?

12

Как только мы с Лешкой пришли, товарищ Бурин, наш командир, собрал нас всех, построил и сказал: — Наступает зима. Вот. Чего же ожидать? Безусловно холода. Переходим, значит, на зимнее положение. Уже договорились: спать будем в домах. Теперь новые распоряжения: побудка устанавливается в четыре утра. Перекуры это бич. Сокращаем перекуры с десяти минут ежечасно до пяти. Обед — час. Много. Полчаса. Из этого приказа мы видим о том, что рабочий день выигрывает, сами считайте насколько. Чем вызывается? Последним напряжением. Прет, бл...га. Так что надеюсь на вас.

Он кончил свою речь и ушел, поблескивая железными очками. А мы разошлись и снова стали грызть нашу землю. Буринский приказ иссушал душу. Не потому, что он ухудшал нашу жизнь, а потому, что было ясно: это не его приказ, не он это выдумал, чтоб нам меньше спать, этот приказ — результат обстановки на фронте, этот приказ идет сверху, а если там так приказывают, значит, дело наше плоховато, значит, пока еще ничего нет хорошего после трех месяцев войны.

Горько это было, сказать нельзя как. Оторванные от мира, от близких, от всякой информации, замерзшие, плохо оснащенные и безоружные, мы готовы были работать, работать, работать — только бы увидеть в глазах командира светлый отблеск успеха, услышать в его голосе торжествующий отзвук первых побед.

Небо было серое, цвета солдатских шинелей. Ветер усилился, и скоро пошел дождь, осенний, крупный, седой от горя дождь. Над трассой висело молчание. Лопаты шли туго, темп работы упал. За этой завесой дождя, снега и туч слышался одинокий саднящий звук. Над нами пролетал фриц. Все подняли головы к небу. Звук ушел по направлению к Москве. В перекуре мы развели костер. Голая ольха, стоящая на берегу реки, ломалась легко, как сахар, и шла в огонь. Она горела ярко и красиво, почти не давая тепла. Я стоял близко у костра и, когда отошел, мой ватник тлел в двух местах. Я прибил огонь ладонью.

— Хотя бы по винтовке дали в случае чего, — сказал Лешка.

— Да, лопата не стрелит, — поддержал его Горшков, беззаботный плотник с «Борца».

Вот, вот. Это было то самое, что давно уже глодало наши души. Сережа Любомиров остервенело ударил по комку глины, навалившейся ему на сапог.

— Ах черт его раздери, — он весь затрясся и стал растирать себе шею, — это-то и терзает. Драться же хочется, драться! Разгромить его в порошок, в пыль, в тлен и прах, чтобы кончить раз и навсегда. А где оружие? Я вас спрашиваю, где оружие, ну?

— У армии есть оружие, — сказал Степан Михалыч, — не робь, Серега!

— Да я тоже хочу, пойми ты! Я что, рыжий, да?! — Сережка кричал как безумный. Он поднял лопату над собой и, не в силах сдержаться, вымахнул на гребень. Он потрясал лопатой. — Вот она, — кричал он, срываясь и захлебываясь, — вот она лопатка, старый друг! И все! А что еще? Когти, да? Зубы, да? Мало этого, мало!

— Все сгодится, — снова сказал Степан Михалыч и покачал головой, — на этот раз, сынка, все сгодится. Одному там танк или, скажем, миномет, а нам с тобой лопата. Не впадай ты, Сережка, в панику, без тебя тут не ай какой вечер танца.

Сережка снова прыгнул к нам и принялся за работу. Ветер полоснул как ножом, деревья завывали и стали бить

веткой о ветвь в тщетной надежде согреться. А мы работали молча и зло, и я все время думал, что Сережка тысячу раз прав.

А к полудню ветер немного расчистил небо, стало виднее вокруг, и долгий седоволосый дождь прекратился. Солнце блеснуло, яркое и холодное. Близилось время обеденного перерыва, и к нам на участок принесли газету. Номер этот был недельной давности, но мы и такому были рады. Степан Михалыч бережно развернул газету и передал ее голубоглазому наборщику Моте Сутырину. Мы встали вокруг Моти широким полукругом, закурили, наскребывая остатки махорки, и засунули застывшие руки в карманы. Степан Михалыч убедился, что мы готовы.

— Давай, Мотя,— негромко сказал он.— Послушаем наши дела...

Да, плохие вести читал нам свежим, певучим голосом Мотя Сутырин, плохие, не дай бог. Каждое слово сводки резало нас как ножом, било безменом по темени, валило с ног.

«Оставили». «Отступили». «Отошли». «Потеряли». И это всё мы должны были слышать про нашу армию, про нас? А немцы, значит, гуляли по нашим полям, они топали и свистели, жгли что ни попадя и пытали комсомольцев?! И все это мы слышим наяву, не в кинофильме, не в старой книжке про гражданскую войну, а сегодня, сейчас, под Москвой, мы, живые, стоим и слушаем это, засунув руки в карманы?! Это было невозможно, нельзя, нельзя понять...

— «В деревне Дворики,— читал Мотя,— фашистский ефрейтор изнасиловал четырнадцатилетнюю Матрену Валуеву...»

— Громче! Не слышно... — перебил Мотьку Каторга и стал расчесывать грязные цыпки на потрескавшихся руках... Мотька остановился и поднял на Каторгу свои пасхальные глаза. Было видно, как задрожала газета в Мотькиных руках.— Врут это,— снова сказал Каторга, глумясь.— Один на один не изнасилуешь!

Я обошел Лешку, пройдя перед Бибриком и Киселевым, вышел вплотную к Каторге и прямо с ходу дал ему по морде. Он зашатался и отскочил.

— Ну, все!— торжественно сказал Каторга и выплюнул длинную тесемку крови.

Он все еще отступал, словно для разбега.

— Уж пошутить нельзя человеку? — крикнул он над-

рывно.— Шуток не понимаешь, хромая ты гниль? Тсперь все!— Он стал приседать в коленках для пущей зловещности.— Теперь пиши скорей мамаше, чтобы выписала тебя из домовой книги!

Каторга выхватил нож и, горлопая и матерясь, стал выполнять увертюру перед тем, как ударить. Он жеманничал, и красовался, и рвал на себе рубашку, и все время напоминал мне о прощальном письме к мамаше.

Но у меня не было матери. Я побежал к нему навстречу, нога мешала мне, но я добежал и снова дал ему изо всех сил. Теперь он упал, и я кинулся ему на горло. Каторга изловчился и тусклым своим пожом резанул меня, где сердце. Ватник спас меня. Нас растащили. Шуму не было. Я пошел на место. Каторга кликушествовал, не отдавая ножа, и клялся, что мне не жить.

Я видел, как рвется к нему Лешка. Но Байсейтов оставил Лешку и вежливо взял Каторгу за руку. Каторга мгновенно позеленел, руки у Байсейтова были страшной волчьего капкана. Байсейтов отпустил его.

— Читай, Мотя, дальше,— тихо сказал Степан Михалыч.

И Мотя стал читать дальше.

13

Наш учетчик Климов заболел. Он метался на соломе, хрипел, никого не узнавал и дико кричал «Бей!» на каждого, кто подходил к нему. Случилось это на второй день нашей жизни у тетки Груни. Маленький желтоволосый ее сынок смотрел на Климова и боялся. Я сходил к Бурицу и доложил ему обо всем. К концу дня стало известно, что Климова повезут в Москву на каком-то чудом добытом грузовике. Повезет Климова наш Вейсман, аптекарь, старик с лицом президента, бабник и звонарь. Представлялась возможность написать письмо. После работы мы сидели кто где и строчили.

Я сидел у изголовья Климова, слушая его бред, и писал письмо Вале.

«Валя, я жив. Я посылаю тебе это письмо с оказией, чтоб ты знала, что я жив. Ты плакала в тот день, когда я сказал тебе, что уезжаю. Ты плакала, Валя, и я вдруг поверил, что ты любишь меня. Верно ли я подумал? Ведь ты никогда еще не говорила мне о любви. Но когда ты заплакала, узнав, что я уезжаю, я вдруг совершенно пове-

рил, что ты меня любишь. И понял еще и то, что я-то тебя люблю и что это написано во мне большими буквами и я всегда могу сказать это при всех, не стыдясь. Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ.

Почему ты не пришла проводить меня? Ведь мы бог знает когда встретимся. Я ступил на тропу войны — так говорили индейцы моего детства — и теперь не сойду с этой тропы до самого конца. А если я выживу сегодня, здесь, я пойду дальше, а если и там я выживу, в пятистах боях, я пойду в пятьсот первый. Я пойду несмотря на то, что хочу быть рядом с тобой, живой и желанной, я пойду несмотря ни на что. И это не мальчишеская жажда подвига, нет, это железная необходимость, это моя правда, мой долг, мне иначе не жить. И вот вопрос: зачем я пишу тебе об этом? Тут ответ простой, Валя: сказать нужно, пельзя молчать, а ты вот меня любишь — значит, тебе. Но ты пойми правильно, это не печальное письмо, я хочу дожить до Победы, и я доживу до нее, я вернусь домой, живой и здоровый, и я тебе очень понравлюсь, потому что я буду весь в орденах и со шпорами, и я увижу тебя и обниму.

Я сижу сейчас в полутемной комнате тетки Груни, приютившей нас в своей ветхой хибарке. Нас здесь много — четырнадцать человек да трое хозяев. Невообразимо тесно, мои товарищи тоже пишут письма, они яростно скребут карандашами. Карандаши скрипят, я слышу любовный хор карандашей, их соловьиный мощный разлив...

Если бы ты написала мне. Это письмо передаст тебе один из наших, верный человек. Напиши хоть три слова, ты сама догадаешься, какие слова я хочу услышать от тебя. М.»

Я сложил нескладное это письмо в треугольник и заклеил его сахаром. Аптекарь Вейсман сидел в углу и штопал носки. Я подошел к нему.

— Вейсман, — сказал я, — хотите иметь слугу и раба?

— А на хрена? — сказал Вейсман. — Что я, барон?

— Слушайте, старик, урвите для меня десяток минут. Заезжайте по этому адресу и передайте это письмо в собственные руки. И возьмите ответ.

Он поскреб в затылке и сказал:

— Если дело любовное, то я постараюсь.

— Любовное, — сказал я, — не беспокойтесь.

— Красивая? — спросил Вейсман, и в глазах его зажглись недобрые огоньки.

— Ну,— сказал я,— вы таких и не видали.

— Почему ты знаешь, что я видал и чего не видал?..— он посмотрел на меня с превосходством.— Я такое видел, в этом смысле, что тебе и не снилось... Так красивая, говоришь?

— Да,— сказал я твердо,— красивая!

— Приложим усилия,— сказал Вейсман важно, как президент,— только бы не подвели с обратной машиной. Готовсь, привезу тебе целую жменю маринованных поцелуев. Иди, не мозоль глаза!

И он сунул мое письмо в карман, как суют измятый посовой платок.

14

Этот собачий пень портил нам с Лешкой линию нашего участка, его обязательно нужно было свалить в реку. Я возился с ним долго, срубить корневище лопатой было очень трудно. Лешка возился немножко ниже по склону. Мы с ним договорились, что, когда пень будет подготовлен, мы вместе спихнем его. А пока я уже настолько взмок, что мне нужно было скидывать ватник. На таком холоде. Вообще я никогда не думал, что ватник может так быстро износиться и продырвиться в стольких местах. Ветер свободно простреливал его во многих направлениях, и я прямо не знал, что делать с этим треклятым холодом. Я был весь замерзший. Я был всегда и везде замерзший. Снизу доверху, и вдоль и поперек, и внутри тоже. Согревался я только тогда, когда непрерывно махал лопатой, вот тогда было ничего, тепло. Поэтому я работал бойко. Еще я согревался ночью в избе у тетки Груни и дяди Яши. Славные были они люди, и тетка эта и дядька. Жаль только, что мы не успели еще толком познакомиться,— две-три раскуренные в дружелюбном молчании самокрутки, вот, пожалуй, и все. Времени у нас не было на знакомство. Ночь, темнота, теснота, храп. Стук в окошко. Темнота, теснота, оделись, пошли. Лопаты, лопаты, лопаты. Земля, земля, земля. И снова ночь, темнота, теснота, храп. Вот как оно было. Но все-таки дядю Яшу я полюбил. Он был похож на Иисуса Христа или на князя Мышкина. Они вообще, по-моему, похожи. Дядя Яша дома всегда ходил в рубашке враспояску. Дядя Яша был слабогрудый и говорил глухо. Вместо прощания он всегда по утрам изрекал:

— Бей фрица, и больше ничего!

И уходил, прямой, с чухлой бородкой,— ну пророк и пророк.

Он уходил еще раньше нас. Трудно было прокормить даже себя и сына, война несла с собой и голод, и отсутствие рабочих рук в деревне, как и в городе,— словом, все как полагается...

Когда дядя Яша уходил, мы кормили его Васятку, маленького, хилого и милого, как больной котенок, мальчонку. Мы давали Ваське хлеба и сахару. Тетка Груня плакала неслышно, когда мы кормили малыша, а он грыз сахар и протягивал на липкой ладошке матери — делился, значит, угощал. Она отказывалась, а мы отворачивались, чтобы не видеть всего этого. Потом мы уходили, напившись кипятку. Два раза я в сырой предутренней мгле за мостиком видел васнецовскую Аленушку, Дуню Табариннову, я махал ей рукой, и она приветливо отвечала мне тем же, милая, сказочно красивая девочка, с красными ознобленными руками.

В эти дни мы должны были соединиться с идущими нам навстречу ополченцами, и линия контрэскарпов казалась мне бесконечной. Я представлял себе всех нас сидящими внутри этого прочнейшего пояса. Вот он, фашист, прет, прут его танки, пехота, они наступают, но стоп! Шалишь, фашистская морда, не тут-то было, не пройдешь! Танки их растерянно тычутся вправо и влево, — шутка ли, перед ними неодолимое препятствие, они замешкались, выключили моторы, а мы их поливаем, а мы их поливаем огнем! Они валятся во рвы, вырытые нашими руками, и здесь находят свою смерть, и благодарная история вписывает наши безвестные имена золотыми буквами на свои сияющие страницы...

...Но пень покамест портил мне все дело. Он все-таки заставил меня скинуть ватник, в такую-то погоду. Пень уже висел на одном корешке, но, сколько я его ни пихал, он и не думал двинуться с места. Я решил подрвать его еще немножко. Невдалеке, немногим пониже меня, копошились Лешка с Тележкой. Они выкорчевали уже три пня. Чуть левее их орудовал Степан Михалыч с Серезжкой Любомировым, и у них тоже были успехи, а я все еще возился со своим Берендеем. Я стал сбоку подрывать под ним яму. Здоровый был пнипа и страшный, как леший. Я выкинул две-три лопаты из-под туго вросшего, похожего на морской канат корня и увидел, что пень пошел. Он на-

клопился вперед всем своим почерневшим, заросшим плесенью срезом и, видно, собирался кувыркнуться. Он уже заходил на кувырок и мог меня придавить. Я отскочил, положив руку на его жесткий кабащий бок и подпихивая его. В двух шагах подо пнем, спиной к нему, стоял на четвереньках Лешка. Пень заходил уже за ту точку, перейдя которую он понесется вниз стремглав, страшный как зверь. Я попытался остановить его и схватил за торчащий снизу сук. Лешка все еще возился. Язык у меня стал толстый, он не поворачивался во рту, это было как во сне, но я превозмог наваждение и крикнул:

— Лешка! В сторону! Берегись!

Он сразу понял, пригнул голову и быстро передвинулся на коленях вправо, а пень повалился боком, очень мягко подвернул мой палец под сучок и наконец, словно окончательно надумав, как мальчишка, ринулся галопом вниз, скача и подпрыгивая легко, несмотря на свой вес. Он так и докатился до самой речки, скача и приплясывая, вбежал в речку по сукастые свои колени и тут же встал.

А я смотрел на свой большой палец. Он висел почти отдельно, как с чужой руки. Он уже синел. Испарина выступила у меня на висках. Лешка подбежал ко мне. Он спросил:

— Сломал?

Я сказал:

— Не знаю.

Вокруг уже было много народа. Степан Михалыч положил мою кисть на свою широкую ладонь.

— Нет,— сказал он,— не сломал, нет.

— Растяжение,— сказал Тележка.

— Вывих...

— Теперь тебя отправят...

— Не работник, ясно.

Стоявший неподалеку Кагорта, вытянув шею, каркнул:

— Это он сам над собой сделал, самострел клятый...

Лешка погрозил ему кулаком.

— Позовите Сему,— сказал Байсеитов.

Сережа Любомиров сказал:

— Сейчас.

Но кто-то уже вел Сему. Он был как гном, бородатый и горбатенький. Я его знаю по Москве, он расклещик афиш, свой брат, такой же, как и я, служитель муз.

— Ну-ка,— сказал Сема,— покажь.

Он погладил мой палец осторожно, не причинив боли, наоборот, даже приятно было.

— Этот палец,— сказал Сема важпо,— этот самый палец выскочил из своего гнезда. Держите огольца. И ничего особенного.

Лешка обнял меня сзади за плечи и прижал к себе. Мне было слышно, как в левую мою лопатку сильно стучится Лешкино сердце. Сема взял мою руку и сказал убаюкивающе:

— Закрой глаза.

Я закрыл, но не сдержался. А Сема сказал, отходя:

— А зачем орешь? Орать не надо. Операция закончилась. Затяни чем-нибудь. Освобождение, конечно. Ну, хошь на день. Доложись командиру.

Я смотрел на его горбик, бородку, кривые ноги и подумал, что он, наверно, в самом деле гном и колдун, это он притворяется, что он расклещик. Палец хоть и болел, и был синий, и опух ужасно, а все-таки он болел нормально, как-то по-другому, чем минуту назад. Да здравствуют гномы!

Я пошел к штабу и разыскал Бурина. Он долго и пылливо рассматривал мою вздутую кисть и синий палец, потом подозрительно спросил:

— Это как же вышло?

Я рассказал ему. Он рассердился:

— Испугался, значит, за дружка?

— Да.

— Он бы сам отбег. Надо бы тебя на губу или судить, как дезертира!

Я сказал:

— Ты спятил, Бурин. А если бы задавило Фомичова?

— Брось,— сказал он жестко,— не ной. Я тебя знаю, не думай. И только поэтому черт с тобой, отдыхай, гуляй, ваше сиятельство, барствуй! Валяй, значит, лодыря, через свои нервы.— Это он в насмешку так сказал — «нервы» и покривил едко губы.— Но завтра выходи на трассу! Не сможешь — отправлю. Иди.

Он отвернулся. Ишь ты какой железный командир! Он меня отправит! Ты подавишься семь раз, прежде чем меня отправишь. Я тебе покажу «нервы». Я шел от него, проклиная все на свете.

— Здраствуйте. Что не на работе?
 Она окликнула меня из своего проулка, когда я шел от Бурина злой как черт. Я шел к нам в избу, к тетке Груне. Не обратно ж на трассу идти, стоять там столбом. Я очень обрадовался, когда увидел ее. Я просто опять окаменел: да разве бывает такое лицо не на картинах?.. В кино у нас все уступили бы ей по красоте; если честно подходить, они и пятки ее не стоили.

Я сказал:

— Здраствуйте, Дуня. Освобождение получил. Вот палец...

Она осматривала палец, а я думал: ландыш. Только ландыш такой красивый, и Дуня — это ландыш.

— Чем бы перевязать? Вы знаете, Дуня, его надо подтянуть.

— Ну да, — сказала она заботливо, — зайдем-ка до нас.

Она взяла меня за руку и повела к себе. Дома у нее никого не было. Против печи шкафчик со стеклянным верхом, там стояла кой-какая посуда. Герани и фикусы на подоконниках и на полу, а пол дощатый, голый, чисто вымытый, по такому полу хорошо ходить босиком. Левый угол был отделен занавеской, — видно, там стояла кровать. Еще там была скамья, старая, серо-белая (я очень люблю этот цвет старого домашнего дерева).

— Садитесь, — сказала Дуня, — я сейчас.

Она скинула свой клочковатый полушубок и оказалась в простом ситцевом платье. Она была стройная и держала торс очень прямо, как цирковая балерина. Обута она была в огромные валенки с калошами. Калоши она тоже скинула, а валенки нет. Так и ходила — ноги слона и торс юной балерины и лицо. Она принесла какую-то тряпочку и села передо мной. Я повернулся к ней, и она стала перевязывать мне руку. Пальчики ее согрелись, прикосновение их было ласковое, и русая ее головка с недлинной косой, и неслыханной красоты лицо — все это брало за душу, и славно становилось жить подле нее, как-то доверчиво и любовно.

— Вы сами московский будете? — спросила Дуня.

— Московский.

— С матерью живете?

— Оди.

— Что так?

- Она умерла.
- Ах ты... давно?
- Год уже...
- Отчего она, бедная?
- У нее болезнь была... тяжелая... Она в больнице ле-

жала.

- В больнице?
- Да.
- Плохо в больнице лежать...
- Это все от людей, какие люди...

Я сам не знаю почему, мне вдруг захотелось рассказать Дуне. Хоть немного. Я сказал:

— Я один раз был у нее в больнице, раньше не пускали, а тут вызвали. Посиди, говорят, с мамой, повидайся. Я и не понял ничего, с радостью пошел. И когда я пришел, я пожалел. Там у них был доктор. Наглый такой, сановитый... Ему все можно. Например, резать правду-матку в глаза. То есть такую правду, которой не надо. Терпеть не могу. Я к нему пришел, и дожидался очереди, и случайно услышал, как он одному тихому такому парню, рабочему, говорит: «Послушайте, любезнейший...» Слышите, Дуня? «Любезнейший» — в наши дни в обращении к рабочему. Вы чувствуете, что стоит за этим словом «любезнейший»?

— За этим словом стоит, что доктор сволочь, — сказала Дуня. Я обрадовался, что она поняла, уловила, в чем дело.

Я вообще не очень-то любимый стал в последнее время, но странное дело: я чувствовал, что говорить с Дуней можно. Вот именно — можно, она меня поймет так, как я хочу быть понятым.

— Ну, а дальше-то что? — поторопила меня Дуня.

Я сказал:

— Так этот доктор и лепит ему в глаза: «Вот, любезнейший, должен вас огорчить, надеяться не на что, жена ваша плоха, предвижу летальный исход». Тот так и закачался, ноги подкосились, сел, воздух ловит ртом.

— Это что ж за исход такой? — спросила Дуня.

— Летальный? Это смерть. От слова Лета — река забвения. Я и дожидаться его не стал, так мне противно было. Я пошел в палату, сидел у матери и держал ее руку. И вот в какую-то минуту ей стало больно, и видно, уж очень. Лицо исказилось, и она отвернулась, чтобы я не видел. А меня насквозь пронзило...

— Как это все тяжело и прискорбно,— грустно сказала Дуня и замолчала. Глаза у нее стали влажные, и она сказала, положив мне руку на плечо:— А батя ваш где?

Я сказал:

— Отец погиб на Хасане. Он герой.

— О господи,— сказала Дуня,— значит, вы сирота?

Я сказал:

— Да.

Она задумалась.

— Круглый, значит, сирота.— Она посмотрела на меня каким-то новым взглядом, более близким взглядом старшего и сильнеешего. Ах, славная, бесценная Дуня. Она сказала:— Жалею я вас, нельзя сказать, как жалею! Вы сами с какого?

— С двадцать второго. А вы с какого?

— Угадайте.

— С двадцать второго?

— Что вы? Неужели я выглядываю на с двадцать второго?

Она обиделась, вот история! Я сказал:

— Ну, с двадцать третьего.

Она сказала недовольно:

— Конечно, теперь будете перебирать по одному.

— Я не умею угадывать!

Она улыбнулась:

— Молодой еще.

Я сказал:

— Так с какого же вы, Дуня?

Она сказала, словно желая сделать мне радостный сюрприз:

— Я с двадцать четвертого!

— Ну да? — сказал я.— Значит, вы маленькая?

— Семнадцать годов — маленькая?

— Ну не грудная, конечно, но все-таки маленькая.

Очень молодая...

— Самые года.

Я сказал:

— Конечно! Невеста!!

— Не смейтесь!

— Нет,— сказал я,— я не смеюсь. А сватались? Только честно!

Она притворно зевнула:

— Глупости это все. Учиться надо.

— А на кого?

— Я на учительницу хочу. Я очень понимаю маленьких ребят. Я с ними, хоть с каким, сразу как своя.

— Хорошее дело,— сказал я.— Я тоже ребят люблю, всех маленьких люблю, жеребят и щепят. Ну а ребята, конечно, всех лучше. Они воробьями пахнут.

Она засмеялась и снова глянула на меня долгим, испытующим взглядом.

— Вот вам и надо сто ребят завести, своих. А вы холостой?

— Да... Я холостой...

— Что это вы как будто сомневаетесь... Может, неправда?

— Нет, нет, что вы. Я холостой.

— И никого нету?

— Где?

— Ну, на примете?

— Ох, так нельзя.

— Почему же?

— Ну, нельзя... А если бы я вас так спросил? Вы что бы мне сказали?

— Я?

— Да. Вы.

— Раз у меня никого бы не было, я бы так и сказала, а если б я виляла, значит, что-то бы у меня на уме было, что я бы скрыть хотела...

— От кого?

— От вас. Да что вы все на меня-то повернули?..

— Я не сворачивал... Дувя, мне, пожалуй, идти надо...

— Куда же вы так быстро? Поговорите еще со мной.

— А про что?

— Да про что хотите, мне все интересно. Хоть про книжки...

— Да про книжки что ж рассказывать, их читать нужно. Вы что читали?

— Я? Много кой-чего... Ну, Толстого читала «Анну Каренину», Пушкина «Капитанскую дочку», Бляхипа «Красные дьяволята»,— много вообще... «Железный поток»... Это Станюковича...

— Серафимовича...

— Ой да, Серафимовича...

— Ну а что больше всего понравилось?

— «Анна Каренина», конечно. Ах, бедная, несчастная...

Я всегда слезами обливаюсь, когда она с сыночком своим виделась. Несчастливая Аннушка, красавица, а несчастная.

Я сказал:

— Да ты сейчас-то не плачь. Конечно, она несчастная, да ведь это книжка.

— Нет,— живо сказала Дуня,— это хоть и книжка и про старое время, а все-таки так было. Это жизнь. Так в жизни бывает. Это все про жизнь.

— Дуня,— сказал я,— Дуня, ты просто я не знаю какая!

Она быстро повернулась ко мне, балерина в валенках.

— Понравилась? — сказала она.

У нее было радостное лицо.

— Выше макушки,— сказал я с таким видом, что шучу.

— Сватайся! — сказала она.

Я сказал, но не сразу:

— Война.

— Да,— задумчиво сказала она, опустив руки,— война! Не можешь ты свататься. Скоро вас под присягу повезут.

— Это как? — у меня забилось сердце.

— Так. Привезут знамя, и под присягу — и все. И на фронт.

— Дуня, вы это серьезно или так? Неужели правда?

— Да вы чего всколыхнулись-то? Ай на фронте сладко?

— Слаще, чем здесь.

Она задумалась, подошла к окошку и закинула руки за голову. Потом обернулась ко мне и сказала укоризненно:

— А кто же с нами будет? С бабами и девками да с малыми ребятами? Ведь мы бьемся, сил нет никаких. Я вот девушка, а тогда ругалась при вас на лошадь, как пьяный бандит; разве это хорошо? Зачем это так жизнь заставляет? Я раньше никогда себе этого не позволяла, да и сейчас с души воротит от дурного слова, а вот поди ты... А где мой папаян с братом? А, вот то-то... Мы с матерью работаем, а у ней кила, разве ей можно? Значит, все я да я. А тетка, она придурок, все с сектантами шушукается, кто ей мозги вправит? Опять я? Да она меня так пуганет, что я и костей не соберу! Вот... А вы все на фронт тянетесь, души у вас нет.

Она с досадой задернула марлевую занавеску. Рука у меня успокаивалась, она пульсировала ровно и болела

сладко, выздоравливала. Я подошел к Дуне. Мы стояли рядом и молчали.

— Осерчал? — сказала она тихо.

— Нет, — сказал я, — нисколько.

16

Никогда еще ни с одной женщиной или девушкой я не чувствовал себя так легко, как с Дуней. Мне с ней и говорить было легко, и дышать легко, я ей рассказал про больницу, и даже это мне с ней было легко. Такого еще ни разу в моей жизни не случалось. Не рассказал бы я этого Вале, — внутри затормозило бы. Она назвала бы меня сентиментальным, но это не сентиментальность. Нет. Чувства ведь все-таки есть? Бывает тебе грустно или нет? Вот тут-то и нужно, чтоб тебе попался такой человек, как Дуня... Но это редко бывает, я таких не встречал. Я вообще до Вали никого не встречал, у меня, кроме Вали, никаких романов не было. Нельзя же считать романом наши поцелуи с Адой Ляминой. Давно это было, еще в пятом классе. Мы выходили после школы на бульвар, она заставляла меня прятать руки за спину и сама прятала свои. Мы стояли на расстоянии двух шагов и наклонялись друг к другу, выпятив губы, и, приблизившись, сухо и быстро клевали друг дружку носами. Это называлось целоваться и считалось страшным грехом. А потом выяснилось, что нет в классе мальчишки, не целовавшегося так с Адой. Нет, это был не роман. Это все детство... Какой это роман.

...В избе у тети Груни было пусто и неуютно, я даже пожалел, что так быстро ушел от Дуни. Там было чисто, а здесь солома лежала на полу, сбитая, старая, в комнате стоял наш знаменитый ополченский запах, воздух синый от невыветрившегося махорочного дыма. Маленький Васька играл в чурочки возле холодной печи. Я сел к окну и подозвал его и отдал ему два кусочка сахара; они лежали у меня в кармане, я еще утром припас. Васька снова сел на пол, босые его ножки, грязные и твердые на подошвицах, были раскинуты. Он поел сахара, глядя на меня неотрывно. Дело это было минутное, и Васька обтер мокрые руки о женское лиловое трико, в которое был одет. Подошел ко мне и приткнулся у колена, искательно погладил мой сапог.

- Ты, Митька, всегда носи мне сахару,— сказал он.
- Ладно,— сказал я,— а где мама?
- Пошла. Сказала, чтоб я не баловался.

Я взял его под локотки и подвнял эти полфунта ребрышек и посадил на колени. Он стал смотреть в окошко. Я понюхал его включенную головенку. Пахло воробьями. Под моей рукой билось маленькое сердце, билось гораздо чаще, чем у меня. Мы сидели так с Васькой и молчали. Он пригрелся у меня на коленях, растаял, притих и, видимо, боялся, что я взял его ненадолго, сейчас снова уйду и оставлю его на весь день. Поэтому он затаился, как мышонок,— не хотел спугнуть меня, боялся шелохнуться, чтобы не напомнить мне о моих непонятных взрослых делах. И я снова думал, что если я люблю этого Ваську и всех других таких же, кто сиротливо сидит один на полу в грязь, у холодной печи, то чего же я здесь сижу, надо идти, идти, идти на большую войну и сделать что-то большее, чем я делаю сейчас. Опять заскрипела душа, завывала гордость и долг застучал кулаком в сердце.

За окном уже стало темнеть, скоро должны были прийти наши. Впервые я встречал их здесь, и я решил прибрать избу, проветрить ее, вскипятить воду. Неловко мне было, что я весь день провалялся с пальчиком. Как обыкновенная рохля. Я встал, Васька соскочил с колен и устоялся на меня. Я сказал:

— Большая приборка! Свистать всех наверх! Эй, на юте! Пошевеливай! За мной, Василь Яклич!

И мы с ним начали орудовать. Он мне здорово помогал. Такой маленький, а работу знал. Я подмел пол, принес свежей соломы, открыл надолго дверь и впустил свежего воздуха. Затопил печь, поставил кипятить чугуя воды. Хлеб ополченцы должны были принести свой, а может быть, и кашу или консервы. Мы долго возились с Васькой, и он все время помогал и шлепал за мной маленькими ножками и стучался об углы. Я вытер ему сопливый нос, пригладил включенные волосы, и он оказался очень даже ничего себе. Мы крепко с ним подружались. Я решил прилечь и подождать, уложил Ваську на кровать, а сам лег на солому и, как только лег, мгновенно заснул. Спал я крепко и проснулся оттого, что Лешка укладывался со мною рядом.

- Это ты, Лешка?
- Ага,— сказал Лешка.— Болит рука-то?
- Утихает...

— Что ж ты не ужинал?
— Проспал.
— На вот хлеб. Освободил Бурин-то?
— Ругался. Судить бы, говорит, тебя как дезертира!
— Плюнь. Это он сгоряча. А ты думал, меня раздавит пнем?

— Он уже начал переваливаться на тебя.

— Что ж руку-то не выдернул?

— Да не успел, черт его знает.

— Я теперь должен тебе отплатить!

— Спи, друг.

— Да. Это так, я тебе друг, запомни.

— Так и я тебе друг. Так и знай.

Лешка придвинулся ко мне еще ближе.

— Слушай,— сказал он.— Сережка-то прямо спятил. Бежать хочет в Москву.

— Не может быть!

— Сражаться надо,— спокойно сказал из темноты Сережка.

— Ты не спишь? — спросил я.

— Я все ночи не сплю!

— Это не дело!

— А ты не учи! Не учи ученого!

Я хотел ему ответить как-нибудь порезче, но в это время что-то завывало, загудело, и страшный нарастающий визг пронесся над нами, как будто ведьма на помеле пролетела, потом ужасно трахнуло, дом наш зашатался из стороны в сторону, и в углах его послышался треск.

— Бомба! — крикнул с постели дядя Яша.— Васька, ты где?..

Васька откликнулся ему, тетя Груня заплакала и запричитала в темноте, а мы повскакивали с соломы. Кто-то чиркнул спичку, мы стали одеваться, толкаясь и хватая чужую одежду.

— Пойти взглянуть,— сказал Степан Михалыч в случайно образовавшейся паузе.

Его голос подействовал успокаивающе. Стало тише, люди, уже не теснясь, вышли на улицу. Было темно. На горизонте пылало зарево.

— В лес, что ли, упала,— сказал дядя Яша.— Но то не эта, нет. Больно далеко. Горит где-то около Боровска. Видно, фриц за Боровск взялся терзать. А если он его возьмет, нам всем хана!

— Это почему же? — зло спросил Сережа Любомиров.

— Отрежет,— просто сказал дядя Яша,— отрежет, и нету нам никакого пути. Если только левее, на Наро-Фоминск. Ну, так и фриц, коли он Боровск возьмет, неужели он Наро-Фоминском погрэбает?

— Не каркай, дядя Яша,— сказал Тележка,— как вы это все любите в хате сидя располагать.

— Думать надо, умом надо своим пользоваться,— сказал дядя Яша,— и тогда картина сама себя окажет.

— Наполеон, чисто Наполеон,— сказал Бибрик.

Киселев тяжело дышал, слышно было, как он скребет свою щетину.

— Стой не стой, завтра рано на работу,— сказал Степан Михалыч,— наша война продолжается.

Он пошел в избу. И все пошли за ним. А я пошел на деревню. Спать не хотелось, вот что было странно. Ну да я ведь поспал уже часа три. Почти норма. Я перешел через мостик, и он опять пугливо задрожал под моими ногами. На этой, штабной, стороне, было как-то еще тише и спокойнее, и люди, которых я встречал, все держались спокойно, а если и были встревожены, то друг перед другом этого не показывали. И я подумал, что надо бы мне пройти мимо Дуниного дома,— мало ли что, может, я им понадоблюсь.

Как только я вышел в маленький проулок, так сразу от забора отлетела легкая тень, и Дуня прильнула ко мне.

— Испугалась? — сказал я.— Дунечка ты моя, маленькая.

— Испугалась,— сказала Дуня и вздохнула прерывисто, по-детски,— ужас как испугалась. Я в амбарушке спала, там у меня жаровенка есть, а он как тарарахнет — ну, думаю, конец света...

— Нет, это еще не конец,— сказал я, и мне стало тоскливо.— Много еще будет бомб, надо привыкать...

— Холодно,— сказала она и повела плечами.

Я сказал:

— Пойдем, провожу.

Мы пошли с ней в глубь проулка, вошли к ним во двор, и я увидел, что слева от ворот стоит крохотный нахохленный домик, просто как декорация, такие строят у нас в Сокольниках под Новый год для детей.

— Вот здесь и сплю,— сказала Дуня и открыла дверь: — Входи.

Там были нары или скамья, прикрытые какими-то де-рюжками и веретьем, и красным раскаленным глазком

смотрела маленькая железная жаровенка, похожая на керогаз. Дуня села на скамью, в красном призрачном свете были видны ее таинственные глаза.

— Как хорошо, что ты пришел,— сказала Дуня,— я так хотела, чтобы ты пришел.

— А я стоял на крыльце с нашими, смотрел, где бомба упала. А потом все пошли спать, а я сюда.

— Само потянуло?

— Само...

— Сердце сердцу весть подает... Садись, что ты...

— Да я не устал, ведь я не работал.

— Садись со мной,— сказала Дуня.

И я сел с ней рядом. Она положила свою руку в мою, и долго мы так сидели с ней, и я держал эту милую руку и глядел на эти несказанные глаза, на жемчужные зубы несмело улыбающегося рта...

— Ну а если бы не война? — вдруг сказала Дуня.

— Что?

— Я говорю, если бы не война, а вот мы с тобой встретились и тебя бы сюда тянуло, как сегодня, а меня к тебе. Вот если бы можно нам было, ты бы посватался ко мне?

Как она сказала это слово «можно»! Я сегодня все время думал, что вот с тобой мне все можно. Болтливым быть или даже глупым, молчать или хромать, заплакать тоже можно,— все можно. И насмешек не будет, и зла за пазухой не будет, и оглядки и фальши не будет, нет.

— Что молчишь-то? — сказала Дуня.— Не посватался бы, значит?

Да что я, каменный? Кто же это выдержит. Ведь все равно мне с ней нельзя, по десятку причин, но зачем же обижать — ведь лучше ее нет в целом свете, и потом ведь это правда.

— Посватался бы,— сказал я,— еще как. Семьсот верст пешком бы к тебе бежал.

Она придвинулась и прильнула ко мне и положила мне голову на плечо, и я почувствовал ее маленькую твердую грудь.

— Ты девочка, Дуня,— сказал я.— Ты маленькая. Нельзя тебе стать сейчас моей женой, война раскидает нас завтра, как пылинки, в разные концы...

Она заплакала, я погладил ее лицо и омыл пальцы ее слезами. Я понимал, что наш с ней разговор в этот страшный час, при свете маленькой жаровни, это и есть

высшее счастье нашей жизни, какого я, может быть, никогда уже не достигну, и горячая тоска давила мне на горло, не давала биться сердцу.

Дуня говорила, глядя в окно и сложив руки на груди, и слезы все бежали по ее лицу.

— Возьми меня с собой! Ведь я, Митя, не вдруг это говорю. Я как тебя в первый раз увидела, тогда, с товарищем твоим, когда ты мне телегу поднял, я тогда сразу поняла, что ты верный человек. Не умею сказать... Ты верный человек, это по лицу видно. Детей как хорошо любишь... Вон ты какой... Мне без тебя нельзя здесь оставаться. Кто защитит? Как подумаю о фрице, как подумую...

Она это так говорила, что лучше бы вынула из жаровни уголья и прожгла бы мне глаза...

Я сказал:

— Не плачь, Дуня, родная моя...

Она потянулась ко мне, и я обнял ее и поцеловал, и она тоже меня поцеловала, и время летело мимо нас, и я все целовал Дуню, ее маленькие твердые ручки, и губы, и шелковые мокрые ресницы, и ситец на ее коленях целовал, и это было лучшее, что я испытал в своей жизни.

...Я ушел от Дуни за час до пробудки. Она плакала беззвучно, и все не отпускала меня, и еще, и еще целовала. Я ушел от нее в ту ночь. Я не сделал ее своей женой. Я любил Валю.

-

Утром приехал Вейсман. Он очень осунулся. Когда он стоял над нами на гребне, было видно, какой это старый и большой человек. Лишняя кожа свисала с его лица. Стоя на ветру в вытертом своем «цивильном» пальто и качаясь от ветра, Вейсман сказал:

— Шоссе обстреливают насквозь. Я отдал Климова в больницу и позвонил его родным. Плачут. Я говорю: как вам не стыдно, надо радоваться, парень в больнице, уход как за графом. Вы плачьте не по нему, говорю я, вы плачьте по мне, мне еще обратно ехать. Никакого впечатления... Между прочим, я заезжал в райком, скапдалил насчет махорки. Они мне стали вкручивать, что через недельку, и пятое, и десятое, но, когда я взял их за грудки, сразу нашлась пара ящичков.

Внизу восхищенно засмеялись. Старый враль никого не мог обмануть, но все-таки приятно было представить, что Вейсман кого-то там мог брать за грудки. И потом он привез махорку! Ванька Фролов, больше всех страдавший без курева, подбросил в воздух монету:

— Мировой старик! Жук, а не старик! Докладывай дальше.

— Еще в райкоме говорили, что скоро сюда придут боевые части нашей армии. Они здесь займут оборону. И может быть, нас тоже вооружат...

Сережа Любомиров крикнул коротко:

— Ура!

И еще раз:

— Ура!

Вейсман поклонился, как будто это он приведет сюда Красную Армию и выдаст нам оружие. Отойдя в сторонку и поймав мой взгляд, он деловито кивнул мне. Я взлетел кверху.

— Не волнуйся,— сказал он и положил мне руки на плечи,— я все сделал.

— Ну?

— Я ее видел, хотя мне это было дьявольски трудно устроить,— старик набивал себе цену, а мне было стыдно его доброты, и набивать ничего не надо было. Просто это был геройский старик.— Я ее видел,— сказал Вейсман,— хорошенькая, ничего не скажешь. При титечках и все такое... Но ты не расстраивайся...— Вейсман отошел на шаг, чтобы мне удобнее было падать.— Она сказала: ответа не будет.

Удивительно, что я это знал раньше. Никакого впечатления это известие на меня не произвело. Провожать — неудобно. На письмо — ответа не будет. Вот так. Вот так.

Вейсман смотрел на меня с мудрой проникновенностью.

— Да,— сказал он,— такие вещи убивают. Тут не до слез. Я все это хорошо помню. Что мне тебе сказать?

— Вейсман,— сказал я ему,— милый ты человек. Спасибо за хлопоты.

— Иди, сшей себе шубу из твоего спасибо!— закричал Вейсман грубо.

Он, видимо, был растроган. Неловко пятясь, он задрал полу своего пальто и полез в карман.

— На, раввеселись,— вот тебе письмо! Какой-то оборот подошел, когда я говорил с твоей красоткой,— см-

патичный такой обормот, в очках, толстый как боров.

— Федька!— сказал я и вырвал у старика клочок бумаги, сложенный пакетиком.

«Друже!— это были ужасающие каракули.— Во-первых строках сопчаю, что я жив и здоров, чего и вам желаю, а второе — огромная новость: я иду на фронт. Как говорится, следую примеру лучших, читай — твоему! Приедешь в Москву живой, позвони моей матери. Она будет знать, как и что.

Жму. Твой Федор»

Я сжал эту бумажку, как Федькину руку, и мне захотелось повидать его. Я спрятал Федькино письмо в нагрудный карман и начал спускаться вниз. И тут я услышал их снова. Они летели звеном, прямо над нами. Широкие кресты лежали на их фюзеляжах. Когда они пролетели, у одного из них из брюха выпала какая-то масса. Я подумал — бомба, но цвет и форма были непохожими на бомбу. Все вокруг застыли в ожидании, подняв головы кверху. Масса, оторвавшаяся от самолета, вдруг рассыпалась на тысячи мелких, величиной с игральную карту пластинок, и эти пластинки, кружась, планируя и вертясь, стали снижаться.

— Листовки,— сказал кто-то.

Они летели, колеблемые ветром, отравленные эти листки, они летели в нашем подмосковном небе, фрицевские самолеты улетели, оставив в воздухе эти вонючие бациллы. Они низвергались на нас, потом ветер отнес их в сторону, и они осыпались на оголенный угрюмый лес. Один из листков упал шагах в двухстах от нас. Сережка Любомиров кинулся к нему. Мы следили за ним. Он возвращался, держа двумя пальцами сероватый листок. Лицо его было ужасно. Взглянув в текст, как бы опасаясь осквернить свои глаза, он произнес прерывающимся голосом:

— Массами к нам перебегайте!

И тотчас бросил листок наземь. Потом Сережа Любомиров резко размахнулся и с ужающей силой рубанул бумажку лопатой, как живого и ненавистного врага. К нему подбежал Лешка, и оба они, Сережка и Лешка, стали мочиться на этот листок.

В это время снова послышался вой его мотора, и мы увидели, что вдоль вырытой нами линии на небольшой высоте летит фриц. Он летел как ~~мед~~ медленно и низко,

и снова мы стояли задрвав голову, а он пролетел и превратился почти в точку, но развернулся и опять пошел по линии, снизившись до бреющего полета. Он выпустил короткую очередь, никого не ранил, но, когда пролетел, мы высыпали наверх и кинулись к деревьям. По двое, по трое вцеплялись мы кто в осинку, кто в ольху, стараясь слиться с ними и оберечь себя. Фриц снова пролетел по трассе.

— Фотографирует!— крикнул Тележка с отчаянием.

Мы стояли бессильные, держась за стволы подмосковных деревьев, ища у них защиты, замерзшие и ненавидящие. Фриц же по-хозяйски летал над нами, делал что хотел, изредка постреливая для острастки, чтоб мы не смели носу высунуть из лесу. И такой дул стылый, проклятый ветер, и так мы замерзали без движенья, и такое горькое отчаяние вцепилось в наши сердца, что в эту минуту уже не верилось ни во что хорошее. И тут из леса на гребень наших контрэскарпов с громким посвистом выбросился Каторга. Он разорвал на себе ворот, двумя руками сдернул с головы шапку и что было силы шлепнул ее в грязь.

— А ну, больше жизни, лопатные герои!— закричал нам Каторга.— Что вы там затухли? Жизнь продолжается! Давайте спляшем!— и он топнул двумя ногами, и грязь, как фейерверк, брызнула из-под его перевязанных бечевками бутс.— Что?! Или мы уже не советские?! А? Неужели мы скиснем из-за этого летучего дерьма?!

Он вложил в рот два стянутых в кольцо пальца, дико свистнул и забил ладонями по груди и бедрам.

— Алешша-ша! Держи полтона ниже!— крикнул он в небо.— Заткнись там, подонская морда! Да здравствует Евгений Онегин!

Он заплясал в грязи, этот чертов проходимец, этот непонятный человек с кривым носом, заплясал с ужимками и «кониками», по всем правилам одесского шика, и открылся нам в эту стыдную минуту нашей слабости чистой и прекрасной своей стороной. И мы словно опомнились, скинули наваждение, словно обрели себя, мы кинулись все на гребень и пошли плясать всею ватагой, смеясь и толкаясь и размахивая руками, как малые дети. Мы жили, жили, жили так, как считали нужным, мы жили своим законом под обстрелом фашистского гада. У нас в руках были только кривые затупленные лопаты, а вот же мы знали, что мы сильнее того растленного типа там, наверху, куриное сердце которого позволяло ему бить в безоружных.

В обед я сидел у окна в нашей избе и поджидал Сережку с Лешкой. Они должны были принести из кухни обед. Мы съедали наше варево в доме, это давало возможность подкормить хозяев. Так делали почти все. Я сидел один в избе, Васька еще не появлялся,— видно, заигрался где-то с ребятами, я скучал по нем. Ни тети Груни, ни дяди Яши тоже не было. Лешка освободил меня сегодня от очередного дневальства и не в очередь пошел за щами. Рука моя все-таки давала себя знать, и на работе я еще ворочал с трудом. Я сидел у окна, смотрел на деревенскую улицу, лежавшую передо мной, и думал, что, слава богу, наша работа подошла к концу. Было приятно видеть бесконечно ровную линию наших контрэскарпов, их трехметровую ширину и страшную глубину, их насыпи и зализанные закраицы,— работа была отличная, мы сознавали это и гордились своим трудом. Все это было еще более приятно и потому, что вейсмановская версия подтверждалась и шли усиленные разговоры о том, что сюда со дня на день, с часу на час придут наши части и встанут здесь защищать Москву. Здесь, у сделанных на м и рубежей. Да, время приходит нашим, самое время!

В эту минуту я увидел, что через мостик, осторожно ступая, идет Лешка, держа в одной руке дымящиеся котелки, а другой прижимая к груди полкирпичика хлеба. Я помахал ему из окна, и он широко улыбнулся и кивнул головой. Я вышел к нему навстречу и помог донести котелки. Мы поставили еду на стол, положили по углам алюминиевые ложки.

Я сказал:

— А Сережка где?

Лешка мотнул головой:

— Следом идет.

За окном послышался треск моторов. Я кинулся к окну. По улице шла танкетка, за ней другая, за той третья. Я обернулся к Лешке и сказал, улыбаясь:

— Ну, кажется, наши пришли!

Лешка тоже прильнул к окошку. Теперь уже было лучше видно, первая танкетка подошла ближе к нам. Вдруг она остановилась, не дойдя до нашей избы метров пятнадцать, развернулась и пристроилась задом к огородному плетню. Тотчас из короткого ствола ее пушки вылетел белый дымок, раздался выстрел, и возле красного флага

нашего штаба на той стороне взлетели кверху щепки, пыль и дым. В эту страшную минуту мы, наверно одновременно с Лешкой, увидели черный крест на боку танкетки — такой же мы видели на фюзеляжах самолетов. Все это происходило очень быстро и не сразу дошло до сознания. Из-за танкетки вышел длинный фриц. Он двигался в сторону нашей избы. Через плечо его неряшливо висел автомат. Мы замерли. Фашист шел к нам. Навстречу ему бежал через мост Сережа Любомиров. Он что-то кричал скривленным набок ртом и бежал на немца, высоко замахнув через правое плечо лопату. Немец остановился, расставив ноги, и смотрел на него, — глаза его ничего не выражали, они были тусклые, задернутые пленкой, как на плавленом олове. Видно, не раз уже на него бросались безоружные люди, и немец знал, что ему делать. Он ждал удобного момента.

Сережка бежал на немца, и, когда он уже почти добежал, тот небрежно шевельнул автоматом. Я услышал очень короткое та-та. Немец отступал, пятился, а Сережка все бежал на него с лопатой, но я уже видел, что Сережки нет, что он уже мертв, что это бежит одна неутомимая Сережкина ненависть, которая не умирает.

Лешка схватил меня за руку и дернул за собой. Мы выбежали на задний двор и легли наземь.

— За огород, — прохрипел Лешка, — под плетень, а там вырвемся.

Я пополз за его сапогами по мокрой, грязной земле, а позади слышались выстрелы; пушки работали исправно, чередуясь. Мы ползли, не оборачиваясь, бежали, а немец бил по красному флагу нашего штаба. Там сейчас было много народу, много наших друзей, они собирались сейчас похлебать горячих щей, а немец крыл их без пощады хладнокровным огнем, а мы с Лешкой все ползли, проползли под плетень и еще ползли, а потом встали и побежали за деревню. Минут через пятнадцать мы достигли леса. Мы остановились. Я сказал:

— Откуда, откуда они?

— Десант, верно, — сказал Лешка, — перелетел, гад. Целый месяц строили. А он и воевать не стал... перелетел и высадился. Опоздали наши-то...

Лешка задергал губами и заплакал.

— Пойдем, Леша, — я тронул его за плечо, — надо отходить.

Он пошел за мной покорно, как мальчик, и огромным,

грязным своим кулаком утирал глаза. Надо было спастись, бежать от верной и бесполезной смерти, дорваться до Москвы, получить оружие и вернуться, вернуться во что бы то ни стало! Нельзя было оставлять эти места,— в эту землю была вбита наша душа, наша вера в победу, слишком близкие люди остались там за нашими плечами у домика с красным флагом.

Меня всего жгло. Слава богу, никто не видел, как мы шли вдвоем с Лешкой и ревели. Я ковылял впереди, Лешка за мной. Мы шли напрямик через лес примерно с полчаса и ушли версты за две, потому что выстрелы стали тише, и здесь нам показалось гораздо безопасней.

— Что теперь?— сказал я.— Дальше что?

— Кабы знать, куда идти.

— Ищи дорогу,— сказал я,— ищи, Лешка.

— Надо искать, да,— сказал он,— а то заплутаем, как бы в обрат не паскочить...

— Левей надо.

— Верно, и я так помню. Там много дорог должно сходиться, помнишь? Когда сюда шли, я запомнил.

А я ничего не запомнил, я тогда не обращал внимания на дороги. Я горожанин, и не было у меня этой привычки. Я сказал:

— Теперь ты иди впереди, Лешка.

Он прошел мимо меня вперед, и я побрел за ним.

Ах, горько так идти по своей земле среди бела дня, идти и знать, что ты идешь не по своей воле, не гуляешь, не грибы собираешь, нет, ты бежишь, скрываешься, спасаешь свою жизнь от злого и наглого осквернителя, и нельзя тебе остановиться и принять бой. Горько так идти, никому не пожелаю, трудно! Но мы шли, нужда гнала. Мы шли напролом, продираясь сквозь подмосковный подлесок, сквозь темные группы молодых деревьев, стоящих густо, непроходимой стеной. Исцарапались мы, еще больше изодрались и плутали, но был у нас все-таки какой-то собачий нюх, да и сама земля, наверно, помогала,— ведь мы были ее дети, и минут через сорок мы все-таки выскочили на дорогу.

— Смотри-ка, никого,— сказал Лешка.

Он посмотрел на меня, и я понял, о чем он думает... Я и сам этого боялся.

— Неужели мы одни?— спросил я у Лешки.— Неужели мы одни ушли?

— Прямо не знаю,— сказал он упавшим голосом.

- Может, стоим цемного?
- Дай освоиться, — сказал Лешка.
- Мне почудился треск сучьев.
- Тихо! — сказал я шепотом. — Идут!
- Фриц?
- Не знаю...
- Прячься...

И Лешка зашел за огромную ветлу, стоявшую у дороги. Мы спрятались за кривое дуствольное ее тело.

- Не может быть, чтоб фриц, — шепнул Лешка.

Треск становился все сильнее, ближе к нам, и противно было то, что у меня забилося сердце. Но я решил, что, если это фашисты, я брошусь к ним навстречу и хоть одного да задушю. Среди деревьев замелькали какие-то силуэты, и я увидел ватники. Лешка перевел дыхание, — наверно, и он переживал. На дорогу вырвались люди. Это были Степан Михалыч, Каторга и Тележка.

— Вот она, дорога, — сказал Степан Михалыч. — Сейчас определимся, что и как. Не робь, Телега.

- Москва где? — жадио спросил Каторга.

Степан Михалыч встал на дорогу и резко рубанул рукой куда-то наискосок и вправо.

— Вот, — сказал он, — так держать, и будет тебе Москва.

Мы с Лешкой вышли из-за ветлы.

— Смотрите, товарищи, Митя, — сказал Тележка и нежно улыбнулся, — Митя и Леша. Наши.

Мы подошли к своим. Мы молчали — они трое и мы с Лешкой. Мы только смотрели друг на друга. Как будто десять лет не виделись. Я чувствовал, что все сейчас плачут.

— Вот оно как вышло, — сказал Степан Михалыч виновато.

— Да, — сказал я, — хуже не бывает.

— Сережка-то... — сказал Лешка и отвернулся.

Все замолчали. словно сняли шапки у свежей могилы. Степан Михалыч двинулся первым. Мы пошли за ним.

— Наших там тыщи три осталось, — сказал Тележка.

— Больше.

— Уйдут! Многие ушли, многие вырвутся.

— Где ж они?

— Прячутся...

— Или другими дорогами идут...

— Тут кто как сможет, — сказал Каторга.

На дороге, по которой мы шли впятером, было пусто, и лес стоял сквозной и пустой, и небо было пустое. Стрельба позади прекратилась, и это был плохой признак.

— Всё. Видно, заняли Щеткино, — сказал Степан Михалыч, — теперь польется наша кровь...

— Пойдут теперь расправляться... Коммунистов искать... — сказал Лешка.

— И не коммунистов тоже, — сказал Тележка.

— Коммунистам хуже всех, — повторил Лешка печально, — у меня отец коммунист, и брат тоже.

— Теперь и не узнаешь, кто коммунист, кто нет, — прощедил Каторга.

Степан Михалыч остановился и поглядел на него в упор.

— Я член партии непобедимых коммунистов, — громко сказал Степан Михалыч, и губы его побелели, — я член партии, и ты можешь называть меня комиссаром, Каторга.

Он отвернулся и пошел дальше. Мы двинулись за ним.

Каторга перегнал его и заступил дорогу.

— Каторга да Каторга, — сказал он тихо, — сколько можно? Какой я Каторга, я Гришка Полецук! Я вас очень уважаю, Степан Михалыч.

Тот двумя кулаками расшебаршил свою бороду.

— Пойдешь со мной, Грипя, — сказал он Каторге, — и ты, Телега, пойдешь со мной. Нельзя мне вас всех вместе вести, а вдруг да я что и не так сделаю. Не туда вас заведу. Пусть мы разделимся.

— Нет, мы вместе, — сказал я.

— Это мой приказ, — сказал Степан Михалыч, — теперь пришло расставанье, Митя. Мы трое воп там пойдём, — он показал направление, — на Боровск, мы будем его огибать справа и, может, выйдем на железную дорогу. А вы, Митя с Лешей, вот здесь идите, — он и нам показал, где бы нам, по его мнению, лучше было идти. — Вы всегда вместе, вы дружки, вам вместе падо. Теперь: в Москву придете, вступайте в армию, ребята, добровольно идите. Вы теперь народ подготовленный. Ну, все. Два, значит, у нас отряда во временном отступлении. Всего вам, ребята!

Он протянул мне теплую, согретую добром руку. Я пожал ее. Прощай, Ячмень и Лен! И если навсегда, то навсегда прощай. Тележка протянул мне свою узкую руку, я взял ее и покрыл сверху левой рукой. Он тотчас же положил свою левую руку на мою. Мы трясли так руками,

смотрели друг на друга, что-то хотели сказать друг другу и не смогли, постеснялись.

— До свиданья, — сказал Тележка.

— До свиданья, — сказал я.

Потом я пожал корявую руку моего товарища Гришки Полещука, — грязную корявую руку человека, которого мы несправедливо дразнили Каторгой...

Лешка простился тоже. Они пошли по большой пустой дороге к далекому горизонту, а я смотрел им вслед и понимал, что это уходят из моей жизни люди, без которых мне никогда не будет вполне хорошо.

— Айда и мы, — сказал Лешка.

19

Мы шли с ним скорым приемистым шагом по огромной разметанной дороге, тянущейся сквозь низкий красновато-серый осинник. День перевалил на вторую половину, грязь на дороге уже начала застывать в предчувствии ночного заморозка, идти стало легче, и мы прошли уже верст шесть или восемь, не встретив ни одного человека.

— Где теперь наши? — сказал Лешка.

— Какие?

— Кто вышел оттуда.

— Плутают...

— Повидать бы...

— А может, кто-нибудь сзади идет, кто позже добрался до дороги.

— Покричим?

Мы несколько раз останавливались и кричали. Никто не откликнулся.

Мы были одни с Лешкой. словно одни во всей России, — так пусто было вокруг. И мы снова шагали с ним по дороге вперед и сворачивали у развилков, не раздумывая. У нас появилась уверенность, что мы не можем ошибиться и мы выйдем к Москве. Крупинки железа притягиваются к магниту, они не ошибаются никогда.

— Такому человеку, — сказал Лешка, и голос его дрогнул, — такому человеку надо поставить памятник. Узнать, где он жил, и на его улице поставить памятник. Пусть малые дети на него восхищаются и все другие тоже.

Я сказал:

— Да. Сереге надо памятник.

— Приду домой, — сказал Лешка, — доберусь только до дома, мать повидать, и спать не лягу, побегу записываться в добровольцы. Теперь-то меня возьмут... Теперь люди нужны. Верно?

Я сказал:

— Верно.

Лешка посмотрел на меня и понял.

— Хорошо бы, — сказал он, — нам быть вместе. Да, Митя?

Я сказал:

— Гроб дело. Меня не возьмут.

Несколько минут он молчал, потом зашел ко мне слева и горячо заговорил:

— Я знаю, что надо делать. Нам с тобой, Митя, одна дорога. Нам надо в партизаны идти, вот куда!

Я посмотрел на Лешку. Это было как озарение. Как я сам не додумался до этого?

Я сказал:

— Ты, Лешка, бог!

— Верно? — Он как будто даже удивился похвале. — Значит, пойдешь? В партизаны, да, Митя?

Я сказал:

— Я тебе могу поклясться. Я не знаю даже, как я это сам недотумкался. А что ты это так быстро сообразил, я тебе никогда не забуду. Значит, идем?

Лешка сказал:

— Факт. Возьмут, не бойся. Мы вместе будем. И не беспокойся, что ты хромой, ты молодой, ты сильный, у тебя руки как камень.

Он просто лечил меня, этот парень.

— Ты ходкий, ты же быстро ходишь, ты никогда не отставал. Я тоже как медведь здоровый. Мы с тобой так возьмемся, мы такое ему устроим! У него и правда под ногами земля загорится.

Ну и здорово же он говорил, Лешка Фомичов, — злоуст, ничего не скажешь. Я даже засмеялся от удовольствия.

А он продолжал:

— И мы с тобой еще до победы доживем, увидишь! Она скоро будет, не думай! Это он временно прет, на шарапа берет, а мы еще не опомнились. А потом такое будет, что он и кишок не соберет, да, Митя?

Я сказал:

— То есть конечно!

— Вот, — сказал Лешка удовлетворенно, — мы его добьем, а потом вернемся домой и будем жениться...

Я сказал:

— А на ком? У тебя есть?

Лешка засмеялся и стал глядеть в сторону.

— Есть одна.

— Как звать?

— Таська! — сказал он и улыбнулся снова. У него улыбка была замечательная, добрая очень.

Я сказал:

— Что ж ты невесту так называешь несолидно — Таська!

— Какая ж она невеста. Она в седьмом классе. Таська и есть!

— Ну да? — я очепь удивился. — Она что, школьница? А как же она согласилась?

— Она не соглашалась, она и не знает даже ничего...

— То есть как не знает? Чего не знает?

— Ну что я на ней женюсь!

— Как же она не знает?

— Ну не знает, и все. Это я пока один решил. Я ее заприметил и решил.

Я сказал:

— Ну ты и ловок. Прямо чертов сын!

Лешка снова засмеялся. Этот разговор будоражил его и счастливил, и ему еще хотелось про это говорить, он ведь мальчик был, совсем мальчик.

— Вот, значит, годика через три я на ней и поженюсь!

— Ну, победа-то раньше будет, — сказал я.

— Это конечно, но я все равно подожду. Тут особо торопиться нельзя, да и родители ее не отдадут раньше...

— А у нее кто родители?

— Академики какие-то...

— Значит, ты будешь тоже академик?

— Нет, куда там, мне бы хоть на инженера пока... По металлу. Ну а ты? — вдруг спросил Лешка. — У тебя тоже есть невеста?

Я сказал:

— Нет, Леша, у меня нет никого.

Не знаю, что меня заставило так сказать. Но у меня не было права сказать, что есть у меня невеста.

Дорога лежала перед нами нескончаемая и грязная, и мы пробирались теперь не так уж ходко. Вдруг позади что-

то бахнуло, и нам показалось, что это поблизости. Лешка прибавил шагу. Я сказал:

— Я так быстро не могу.

Он сейчас же пошел потише и сказал:

— Я не спешу, это ноги сами.

Я сказал:

— Выйдем мы, Леша, как думаешь?

Он помолчал. Оживление его уже прошло, он понимал, что дело наше нелегкое, но он был настоящий человек. Он сказал тихо, но твердо:

— Иначе не может быть.

Мы замолчали опять. Стало холодней, время шло уже к четырем. Не помню, сколько мы так шли с Лешкой. Потом опять услышали мотор. Он рычал где-то далеко, но мы сразу услышали его. Мы остановились с Лешкой и стали глядеть в небо. Рокот становился все ближе, и вдруг мы увидели, что с вершины далекого неба, как на салазках с невидимой снежной горы, катился самолет. Он снизился, выровнялся уже совсем недалеко от нас и потом пизко-низко, по-над самым леском, рванулся в нашу сторону. Он давно нас заметил и теперь снизился специально из-за нас, дерьмо.

— Беги! — крикнул Лешка, побежал вперед, метнулся в сторону, перепрыгнул заросшую пожухлой травой обочину и бросился под невысокую ольху, обнял ее и втянул голову в плечи. Я сделал то же самое. Мы под одним деревом лежали, я с одной стороны, Лешка с другой, и держались мы с ним за одно дерево. Я лежал, вдавливаясь, вжимаясь в землю, зажмурил глаза и поджал плечи. Я слышал рокот и услышал длинное, не в пример утреннему: та-та-та-та-та-та. И ветер, и дерево гнется и дрожит: р-р-р, та-та-та-та-та-та. Стихает... Да, слава богу, я почувствовал, что стихает звук и напряжение уменьшается, слабеет, удаляется... Дерево, в которое я судорожно вцепился, уже не трепещет больше, и, выждав еще несколько секунд, я из-под руки глянул в небо. Фрица уже не было. Он побаловался и пошел дальше.

Я сказал:

— Ушел, дерьмо такое.

Я приподнялся на локтях и переполз на другую сторону, где лежал Лешка. Он все еще лежал на животе, так же как я секунду тому назад. Он обнимал дерево, и было похоже, что он целует землю, на которой лежит. Возле его уха лежала тугая, не расплывающаяся лужица. Она не блестела.

Она лежала, выплеснувшись вся, как в блюдечко. Темно-красная тусклая лужица, и это была убежавшая из веселого Лешкиного тела жизнь.

Я не знаю, что со мной случилось и почему я это сделал. Я, наверно, соскочил с зарубки. Со мной случилось что-то странное. Я не знаю. У меня все заболело сразу, опоясало, и перекрестило, и запеленало болью. И, ощущая невыносимую боль во всем теле и стоная от боли и плача, я приподнялся, подтянулся и сел, прислонившись спиной к нашему с Лешей дереву, рядом с ним. И вот тут-то я услышал в себе:

Он упал
На траву,
Возле ног у коня...

Я услышал это четверостишие до конца и посидел тихоошкьку, покачиваясь, и услышал снова:

Он упал
На траву,
Возле ног у коня...

Ничего другого я не мог делать. Я сидел так, как самый настоящий тяжелый псих, и повторял эти слова, наверно, пять тысяч раз подряд:

Он упал
На траву,
Возле ног у коня...

Я пел эту песню и видел свою Дуню, ненаглядную свою Дуню, родимую свою, которая осталась там, в Щеткино, за мостиком, в своем проулке; ее сейчас, верно, ломают, и гнут, и крутят руки, и бесстыдно рвут ее платье, и хрустят ее косточки. И я видел маленького Ваську, — как бьют его пахнущую воробьями головушку об угол сарая. Я видел Вейсмана, — как его сжигают живьем, и я видел распятого дядю Яшу, и лежащего на деревенской улице мертвого Сережу, и мертвую девочку Лину...

Я ничего не мог с собой поделать. Я сидел у дерева, и рядом со мной холодела живая человеческая золотинка, мой друг, мой товарищ, мой брат Леша. А я не мог встать и похоронить его, оказать ему последнее уважение. Я смотрел вперед перед собой и держал руку на безответном Лешкином плече, и все повторял и повторял одни и те же слова:

Он упал
На траву,
Возле ног у коня...

Я сам себя не слышал, вернее, слышал, но так, как будто я пою где-то далеко, а здесь вот сижу тоже я и плохо слышу того себя, который поет вдалеке.

Уже совсем стемнело, когда ко мне подошел Байсеитов. Он подошел, как будто все давно знал, постоял возле нас с Лешей и ничего не говорил. А потом опустился на колени и стал рыть, рыть своим ножиком землю. Я слышал его удары о землю и короткое дыхание. Он долго копал и скреб, и до меня дошло тогда, что ему одному не управиться. Я встал, подошел к нему и стал помогать. Я рыл сначала пряжкой пояса, а потом просто ногтями, и мы наконец вырыли вдвоем с Байсеитовым неглубокую овальную яму, неровную и некрасивую, я взял Лешу за плечи, а Байсеитов за ноги, и мы его как сонного уложили в сырую, неизвестную, ненадежную постель. Мы засыпали его землей и заложили голыми безлистными ветвями, и я опустился на колени и поцеловал эти ветви там, где у Леши сердце, Байсеитов сделал так же. Мы встали потом у могилы, и Байсеитов спел со мной:

Он упал
На траву,
Возле ног у коня...

Потом мы пошли по дороге вперед.

20

Он пытался меня пожалеть и два раза брал меня под руку, как старуху, но я пихнул его локтем в грудь, и он отстал. Мы шли с ним уже часа два-три, над лесом встала кривобокая луна, и на дороге были видны замерзшие лужицы. Под тонкой, прозрачной корочкой льда переливалась нежным узором еще живая вода, и лужицы были похожи на кружева. Они были похожи на узоры из наряда царевны Волховы. Они были похожи на серебряные слитки. И на причудливые обломки зеркал. На удивленные глаза.

Мы давно уже шли с Байсеитовым и еще не сказали друг другу ни слова. Часа полтора тому назад небо за нашей спиной запылало кровавыми перьями пожаров и бомбы стали разрываться за нашей спиной. Они прямо насту-

пали на пятки. Видно, фриц двинулся вперед. Надо было нажимать, и мы шли очень быстро, не так, как ходят в строю, а просто вовсю. Мне было трудно. Да и Байсеитову тоже, — ведь мы давно ничего не ели, а шли уже в общей сложности часов десять, а впереди ничего не было — ни огня, ни жилья. Но все-таки мы шли и шли, влекомые Москвой, все вперед и вперед, несмотря на то что ноги у меня опять болели и мне казалось, что они кровоточат. Мы шли вдвоем с Байсеитовым, теперь Байсеитов был моим спутником, а Лешка отстал в пути, прилег на дороге и не догонит никогда...

— Потерять друга — счастье потерять, — сказал Байсеитов. Он догадался, понял, о ком я думаю, идя с ним рядом.

Я сказал:

— Да.

Байсеитов расстегнул ватник. Прямо в лицо нам дул ледяной ветер, но Байсеитов подставил ему свою коричневую дубленую грудь, которая не чувствовала холода.

— Обида жгет, — сказал он гортанно, — когтит душу, как копчик перепелку.

Он замолчал и потом снова сказал кому-то гневно, с укором:

— Нельзя так, слушай, так нельзя!

Да, обида грызла нутро. И с этой обидой, как с пулей в груди, закусив губы и шатаясь в тяжелых сапогах, мы шли с Байсеитовым, мы шли, шли, шли, шли, без конца. Мы только с ним и делали, что шли, шли, шли, шли... Дорога лежала перед нами, бесконечная ночная дорога, стылая и молчаливая, холодюга стоял собачий, ветер подвывал в голых вершинах, и два десятка километров остались за нашими плечами, как два десятка лет. И казалось, что конец нам, никогда мы не выйдем из этой тьмы и холода, и все равно надо было идти, идти, идти и идти. После полуночи силы отказались мне служить, мне стало наплевать на все на свете, снова боль охватила все тело. Она сжимала меня обручами, особенно грудь, и не давала мне ни вдохнуть воздуха, ни выдохнуть его. В глазах моих встало какое-то марево, оно кружило голову, и странная полусонная одурь нашла на меня. Я хотел спать. Плюнуть на все и завалиться поспать. Простое желание, и я высказал его Байсеитову.

— Я посижу, Байсеитов, — сказал я, садясь. — Иди. Я догоню.

Я сел у дороги и уютно привалился к дереву.

Байсеитов стоял подле. Он попытался поднять меня, но я выскользнул из его рук и снова стал моститься у дерева.

— Встать!— крикнул Байсеитов как командир.— Встать немедленно!

Я встал пошатываясь. Это было неожиданно для меня самого. Я встал, и сложил руки по швам, и закрыл глаза. Меня качало.

— Открой глаза,— сказал Байсеитов,— на!

Я увидел в его руке маленькую круглую жестяночку из-под вазелина, она была открыта, в ней что-то белело. Байсеитов приподнял мою левую руку и подставил под нее свое плечо. Рука его опоясала меня, это был спасательный круг.

— Масло,— сказал Байсеитов. Он поднес вазелиновую баночку к самому моему лицу.— Двадцать пять грамм. Паек. Я со стола ухватил, когда побежал.

Он сунул палец в банку, подковырнул масло и вложил мне палец в рот. Оно растаяло во рту мгновенно и сделало свое дело. Я сказал:

— Пошли, Байсеитов.

Он лизнул пустую банку два раза и отшвырнул ее. Мы двинулись по дороге. Он шел впереди, и мы опять занялись с ним делом: мы шли, шли, шли... Сколько — не знаю. Знаю, что бесконечно долго. Я опять начал пошатываться и засыпать на ходу, и железный Байсеитов тоже шел неверной походкой, плечи его опустились, голова подалась вперед вместе с шесей, и он шел, шел, шел под горящим небом, а за ним, то догоняя его, то далеко отставая, шел, шел, шел я. Ночь застыла, она отказалась двигаться, она забыла про нас, и до рассвета было еще сто лет. И никого, никого, кроме нас на дороге.

Идем, опять идем, опять идем, идем, ковыляем, идем, спотыкаемся. И вдруг, спустившись в маленькую ложбинку, мы увидели бредущую нам навстречу лошадь.

— Ну вот,— сказал Байсеитов облегченно,— вот и все! Сейчас мы верхом поедем!

Он стал подходить к лошади, протянув перед собой руку ладонью кверху. Лошадь доверчиво шла к нему навстречу. Она подошла к нам и стала тыкаться нежным храпом в руку Байсеитова.

— Хлеба хочет,— сказал Байсеитов.

Я сказал:

— Нету хлеба.

Байсеитов прислонился к лошади, и она пошатнулась. Он повернулся к ней лицом и взял ее за холку левой рукой. Он попытался вскочить на нее, на костистую жалкую ее спину. Он бормотал:

— Счас... Счас я сяду. Потом тебя втащу. Прр, тпру...

Но сесть ему не удавалось, он слишком устал, ослаб и отощал, и слишком тяжелые были на нем сапоги, он только тщился бесполезно и корябал бока лошади сапогами. Лошадь терпела все это. Но Байсеитов не мог на нее взобраться. Тогда он взял ее за ноздри и повлек за собой, он брел так, покуда не увидел того, что искал. Это был пек. Байсеитов поставил лошадь у пенька и взошел на него. Лошадь стояла тихо, она понимала наше положение и хотела нам помочь. Я это видел. Байсеитов подпрыгнул и лег животом на острый хребет. Он повисел так, отдуваясь, и наконец перекинул правую ногу. Он уже сидел, когда лошадь вдруг подогнула передние ноги и рухнула на колени. Байсеитов сполз к шее и слез на землю.

Я сказал:

— Она умирает.

Байсеитов закрыл лицо руками. Лошадь легла на бок и пошевелила ногами. Она хотела нам помочь, я это знал. Но у нее не вышло. Она была стара, и она умирала. Байсеитов пошел по дороге. Лошадь тихонько ржанула ему вслед. Байсеитов не оборачивался. Я пошел за ним, и мы снова шли. Мы шли, шли, шли...

21

Утром мы увидели Наро-Фоминск. Первый же косматый старичок, встретивший нас у самого выхода дороги на окраине города, увидев нас, замер от испуга и, когда мы попросили у него воды, вынес нам целое ведро. Он глядел на нас и наконец сказал хриплым, натужливым голосом:

— Вы откуль вышли-то, ребята?

— Из Щеткина, — сказал Байсеитов.

— Вона, — сказал дед, — как же вы из Щеткина? Из Щеткина много народу пришло еще ночью.

Мы переглянулись с Байсеитовым.

Я сказал:

— Где же они выходили?

— Да вона, — дед указал рукой, — у вонзала, вона!

— А мы отсюда выходили, вот, здесь, за вашим домом,— сказал я.

— Вот что,— дед показал два зуба на голых деснах,— это, милые, старая дорога, по ней никто не ходит, это вы крюку дали, верстов двадцать, а то и двадцать пять!

И он засмеялся, добродушно так и сердечно.

И мы пошли с Байсеитовым через весь город и увидели, правда, другую дорогу, по которой шло множество всякого народу, двигались машины, и крестьяне на телегах, и скотина, и весь этот живой поток вливался в широкую улицу, ведущую к вокзалу. Мы шли вдвоем, опираясь на суковатые палки,— на рассвете Байсеитов оснастил нас этими чудовищными полупосохами-полукостылями. Мы шли и чувствовали на себе внимательные взгляды встречных, идти было невыносимо трудно и больно, и хотя я знал, что скоро конец этому моему походу, но я все равно каждую минуту думал, что умру. Нас догнала телега, рядом с ней шла высокая костистая старуха в мужском пальто и шляпе, надетой поверх платка.

— Садись,— сказала старуха зычно.— Подвезу.

Мы еле всползли в телегу с Байсеитовым, и старуха подсаживала нас.

Она была громогласная и разговорчивая. Мы неудобно пристроились с самого края. Телега была завалена маленькими полосатыми, как арбузы, мандолинами и крутобедрыми гитарами. Наверху лежала гигантская балалайка. Весь этот странный товар позванивал и потренькивал от тесноты, и, когда Байсеитов неловко шевельнулся, жалобно зазвенела какая-то басовая струна.

— Полегче, полегче,— сказала старуха трубным своим голосом.— Смотри не раздави мне музыку,— она государственная. Оркестр народных инструментов колхоза «Восход»...

Она шевельнула вожжами, и мы заскрипели по улице. Старуха шагала рядом с нами. У нее были удивительно крупные шаги.

— Спасая музыку от фрица,— сказала старуха,— ему на ней не играть... Одна я в клубу-то: все на войну ушли. И заведующий, значит, и библиотекарь, все побегли душить проклятого. Ну а я гляжу, этак он непароком до нас дорвется, шалавый черт,— запрягла, да всю музыку-то и навалила валом. Пережду где-нибудь, пока его отобьют, а потом в обрат. Не играть ему в нашу музыку, лешему, нет! Так, что ли, ребята?

— Вы правильно делаете, бабушка,— сказал я.

Старуха удовлетворенно хмыкнула. Лошадь двигалась медленно, улица была запружена народом, забита транспортом, глаза мои слипались, но я не спал, не мог спать — наверное, от голода. Я смотрел на дорогу, на людей, которых обгонял, и видел, как в толпе мелькнули Киселев, и, кажется, Ванька Фролов, и еще кто-то — не Хомяков ли? Не узнал, не успел догнать взглядом, а окликнуть просто не было сил. Только я видел многих наших и видел, что они были такие же слабые, как мы, если не слабее.

Байсеитов тоже не спал, он растирал свои набитые ноги, налитые кровью пятипудовые ноги.

Старуха остановила лошадь.

— Стой, трр! — сказала она. — Вам куда?

— На вокзал,— сказал я.

— Слезайте тогда — вот он, вокзал!

Перед нами была маленькая площадь. В центре стояло здание вокзала. Мы слезли с телеги. Не успел я встать на ноги, как меня резанула по пояснице резкая боль. Байсеитов вскрикнул тоже.

— Ослабли мы,— сказал он и смущенно улыбнулся.

Старуха все не отъезжала. Я спохватился.

— Спасибо,— сказал я.

И Байсеитов тоже сказал:

— Большое спасибо!

Старуха взмахнула кнутом, свистнула и, пробежав за телегой несколько шагов, вскочила по-мужицки на бочок. Телега скрылась. Перед нами был вокзал. За невысоким его палисадничком был виден небольшой ладный паровоз, он пыхтел, выпуская плотные клубы дыма. Зеленые вагончики пристроились к нему длинной очередью. Было до них рукой подать. Но Байсеитов не двигался с места. Он показывал пальцем за угол.

— Смотри,— сказал Байсеитов странным прерывающимся голосом,— скорее смотри!

Я глянул туда, куда указывал Байсеитов, и чуть не закричал. Это была армия! Да, это шла наша армия! Был слышен ее мерный, твердый, уверенный шаг. Может быть, это была одна только рота, но мне показалось, что я вижу необозримую массу солдат, полки, дивизии, корпуса. И главное чудо было в том, что они шли нам навстречу. Они шли туда, откуда мы ушли. Они спешили, они торопились, они двигались на ускоренном марше, они бежали

вперед на выручку, на помощь к своим, на бой кровавый, святой и правый.

Они шли, придерживая автоматы на груди, шагали упругими, здоровыми, молодыми ногами. Здесь не было плохо навернутых портянок, здесь все было пригнано удобно, точно, наилучшим образом, и земля хрустела под сапогами, как копытца на молодых зубах, и для меня не было ничего слаще этого звука, любимого еще с детских лет, звука, с которым была неразрывно связана в моей душе память об отце, звука похода, неотвратимой поступи приближающейся Победы, идущей с развевающимися алыми знаменами впереди. Да, наверно, все было не так красиво на самом деле, и солдат было мало, и много грязи налипло на их сапогах, но все равно наша Победа шла сейчас нам навстречу, это наша Победа собирала свои войска в подмосковных лесах, и это было наше светлое будущее, и я не смог сдержать спазмы, сжавшей мне горло...

Солдаты проходили мимо нас. Лица их были чисты и строги. Мне хотелось побежать с ними рядом и показать им дорогу на Щеткино и сказать на ходу каждому из них, чтобы они шли скорее, и дрались беспощадно, и спасли бы мою Дуню, перед которой я виноват без вины, и спасли бы всех наших, которые ждут их сейчас, призывают и кличут. Солдаты шли мимо нас, и я не успел побежать за ними, потому что вдруг понял, что не нужно мне делать этого, солдаты все знают сами. Они сделают свое дело во что бы то ни стало, у них такое же сердце, как мое, и бедное сельцо Щеткино для них Родина, и Дуня для них тоже Сестра и Любовь.

Байсеитов негромко крикнул:

— Бей фрицев, ребята, бей!

И в колонне блеснули ответные горячие взгляды, и замыкающий солдат, проходя мимо, метнул на нас быстрые огневые свои глаза и негромко и страстно сказал Байсеитову:

— Будь спок!

Он улыбнулся краем рта и прошел вперед. И мы долго еще смотрели им вслед, как они идут быстро и согласно, и Байсеитов сказал по-восточному напевно:

— Сердце мое идет с ними рядом...

Мы двинулись. Паровоз все дымил.

На вагонных окнах белели чистенькие занавески. Это было странно. Просто невероятно.

— Чудно! — сказал Байсеитов, словно не понимая и не

веря, что после прожитой ночи в мире могут существовать такие белые запавески...

— Скорее,— прокричал на ходу какой-то парень,— скорее, поезд отходит в десять!

Мы заторопились за ним, вдруг смертельно испугавшись, что опоздаем.

На площадке последнего вагона стояли две рослые девушки в шинелях, краснощекие грудастые девушки с наведенными бровями. Они протягивали нам руки, и мы, стыдясь, протягивали им свои, и девушки втащили нас в вагон. Когда поднимали Байсеитова, его ноги стучали о ступеньки как деревянные.

— Этот полегше будет,— сказали девушки про меня, и, когда втащили, одна шлепнула меня пониже спины: — Давай, хромай веселее!

Я вошел в вагон. Он был набит до отказа. На чистых сверкающих скамейках и на чистом сверкающем полу, под чистыми сверкающими занавесками сидел измазанный наш, усталый, измученный и голодный народ. Странно было знать, что это те же самые люди, которые так недавно ехали сюда такие чистые, сытые и здоровые. Но это были они, те же самые, а вид у них был отработанный, они смахивали на отходы, на второй сорт, потому что горе и обида иссушили их за одни сутки. Но я-то хорошо знал, что этот народ не сдался, нет, не сдался! Просто мы все ехали перезаряжаться.

Байсеитов нашел мне место в дальнем углу вагона, рядом с собой, и я опустился на пол. Было тепло и, несмотря на большое количество людей, очень тихо. Народу все прибывало. Потом больше уже никто не входил,— видно, грудастые проводницы уже никого не пускали; люди шли вперед, к голове состава, я слышал голоса за окнами. Вдруг дверь открылась, и к нам в вагон вошел слепой старик. Лысая его голова была обнажена, водянистые серые глаза смотрели строго. Старик все время что-то неслышно шептал, губы его непрерывно шевелились. Впереди него пробиралась крохотная девочка-поводырь. Она была в ладненьком, перевязанном веревочкой зипунчике, головка повязана платочком. В больших наморщенных синеватых своих руках старик держал каравай хлеба. Он прижимал его к груди. Войдя в вагон, старик остановился и строго сказал что-то шедшей за ним проводнице. Она скрылась и быстро вернулась, протянув старику длинный и острый нож. Тонким и осторожным жестом старик отрезал от

буханки небольшую горбушечку. Он отдал его девочке, и та подошла к первому из нас и протянула ему хлеб. Человек взял, а девочка тотчас вернулась к старику. Он уже ждал ее с новым небольшим ломотком черного хлеба. Девочка взяла ломоток и отдала следующему. Так шли они по вагону, старик и девочка, и оделяли голодных людей, и мы принимали этот хлеб с благодарностью, и грудастые проводницы стояли и плакали.

Совершенно не помню, сколько я спал и сколько мы ехали, какие места проезжали, ничего не помню. Вскочил я, когда поезд стоял у перрона Киевского вокзала и половина наших людей уже покинула вагон. Над мной стоял Байсеитов, он трогал сапогом мои ноги.

— Вставай,— говорил Байсеитов,— вставай же. Москва!

Не передать того, что я почувствовал, когда услышал это слово. Не стоит об этом. Я так давно и так испуганно люблю свой город, что могу говорить об этом утомительно долго. Я жадно вбирал глазами Киевский вокзал, его грязный, невымытый стеклянный купол, нехитрые киоски вокруг и большой разлет площади. Мы стояли на ступеньках вокзального здания, на площади было пустынно, знакомые с детства камни лежали передо мной. Да, это была Москва, в этом было все дело, и сердце билось тяжело и сильно, как язык многопудового колокола.

Слева, с Бородинского моста, четыре девочки вели аэро-стат. Четыре ладные девочки с узенькими талийками вели под уздцы допотопное чудище. Девочки знали, как с ним обращаться, и чудище безропотно подчинялось им. Байсеитов не смотрел на девочек.

— Мне на Можайку,— сказал Байсеитов и переступил с ноги на ногу,— прощаться надо.

— Напиши адрес,— сказал я.

Мы пошли к перронной кассе и попросили карандаш и кусочек бумажки. Обменялись адресами.

Я сказал:

— Я написал тебе адрес, Байсеитов, не просто так. Байсеитов, слышишь, приходи ко мне. Мой ключ лежит всегда в почтовом ящике, и, если меня не будет дома, ты входи и обожди. Я тоже к тебе приду.

Мы протянули друг другу руки, и Байсеитов раскрыл глаза. Я увидел глаза Байсеитова. Оказывается, это были

прекрасные глаза, не маленькие, не узкие, нет. Это были огромные, человеческие глаза, наполненные нежностью и грустью. Я долго смотрел в эти глаза. Мы обнялись. Он спустился по ступеням и быстро пошел, не оглядываясь. Он шел, а я смотрел ему вслед. Без него тоже никогда не будет совсем хорошо.

И я пошел домой. Быстро идти я не мог, да и не хотел. Коряга-костыль был теперь моим спутником. Он постукивал слева, и ноги саднили, но сердце оживало, — дело было в Москве, идти было легко.

Над городом висел странный и неприятный запах гари, черный дым вываливался из многих труб, людей было мало, изредка проносились машины, груженные узлами и разной рухлядью. На узлах сидели насупленные люди. Окна магазинов были завалены мешками. Мрачно было и строго. Москва была сжатая, подобранный, и мне показалось, что я вижу ее лицо, подлинное лицо, без гари и машин с узлами. Много в ней изменилось за время моего отсутствия, в самом воздухе изменилось, и я чувствовал, что это неспроста, что еще серьезнее дело стало. Москва напоминала мне сейчас бойца, что стоит вот так же сумрачно и тихо, широко расставив ноги, и глядит исподлобья, прежде чем одним разом, одним ударом смыть с себя позорное оскорбление, скверное надругательство врага, которому если не отомстить, то и жить уж нельзя на свете. Я вспомнил строки и сказал вслух:

Изловчился он,
Приготовился...
И ударил!!!
Своего ненавистника!
Прямо в левый висок!
Со всего!!!
Плеча!!!!

Это было у Смоленского. А на Арбате мимо меня проскакал конный. Лошадь стлалась по центральной улице Москвы, всадник свистел плетью и жег коня, он гнал его как безумный, стоя в стременах и качая поводьями, чтобы еще ускорить этот дикий бег. Бледные искры взлетали из-под конских копыт. Да, наверняка дело серьезное.

В нашем дворе никого не было, и никто не видел, что я пришел домой бородатый, с костылем, и я долго стоял у своего почтового ящика, не в силах побороть волнение. Потом я наконец решился и пошарил в нем рукой. Он был пуст, в нем не было ни одного письма, и ключа от моей

комнаты тоже не было. Я напарил в полутьме свою дверь и толкнул ее. Она была открыта.

Вот он, гвоздик на стене, где висел плащ девочки Лины.

Я шагнул в комнату. За столом, на стульях и на кровати сидели женщины. Много женщин. Старые и молодые, разные. Они повернули ко мне головы. Все молчали. Первой заговорила стриженная курчавая женщина, стоявшая у стены. Она сказала требовательно и сухо:

— Вам кого, товарищ?

Я сказал:

— Никого.

— Не понимаю вас,— сказала она и прищурилась.

Я сказал:

— Я пришел домой. Я здесь живу.

Женщина еще не понимала.

— Черт знает что! — воскликнула она. — Райсовет предоставил нам это помещение для занятий медсестер!..

— И прекрасно,— сказал я,— молодец райсовет.

— Но нас уверили, что помещение совершенно свободно!

— Я не помешаю вам,— сказал я. — Занимайтесь, сестрички, меня действительно не было, но я пришел. Я из ополчения,— добавил я,— я спать хочу. Занимайтесь, сестрички.

Те из них, кто сидел на кровати, вскочили. Я прошел к кровати и снял сапоги. В комнате сразу запахло портянками. Я лег в чем был и повернулся к стене.

— Занимайтесь,— сказал я. — Занимайтесь, сестрички.

23

Было совсем темно. Я вскочил и начал лихорадочно одеваться, мне показалось, что это побудка и нужно растолкать Лешку, но рядом никого не было, рука моя ткнулась в подушку, соломы не было, воздух был чист, не слышно было храпа. Я вспомнил, что я дома. Медленно, ощупью пробрался и проверил затемнение. Оно было в полном порядке, можно зажигать свет. Я щелкнул выключателем. В комнате все было чисто прибрано, все было как всегда, только на стенах не было Валиных фотографий, на стенах висели прибитые большими гвоздями плакаты, объясняющие, как лучше переносить раненых,

как накладывать повязки, делать уколы и так далее. На столе лежало несколько кусков хлеба, куски эти имели разные оттенки и даже разные цвета, еще там лежал небольшой кусок колбасы, конфетка «прозрачная» и кусок сахара. Я вспомнил женщин с курсов медсестер и понял, что это они оставили мне поесть, позаботились обо мне и собрали между собой кто что может. Я налил в огромную кастрюлю воды и поставил ее на керосинку. Пока вода грелась, я нашел чистую рубашку, трусы, носки и спял с полки красивый плотный кусок мыла. Потом я стоял у керосинки и водил пальцем в воде, пока она не согрелась.

Я налил немного воды в таз и вымыл голову. Нельзя сказать, что вода была грязная. Просто невероятно грязная, чудовищно грязная,— тогда, может быть, будет верно. Потом, в новой воде, я мыл ноги, они тоже были ужасающе грязные. Но главное было в том, что там, где у меня были язвы, теперь была новая розовая кожа.

Потом я разделся весь донага и развел оставшуюся воду холодной и кое-как вымыл тело. Живот у меня так ввалился, что я удивился даже. А грязи на мне было столько, что, когда вода стекала в корыто, я смотрел на нее и только приговаривал сто раз подряд:

— Ну-ну! Ну и ну!

Я вымылся, начерно, чтобы потом не стыдно было идти в баню, убрался, подтер пол и надел чистое белье. Потом я встал у стола и поел оставленное мне медицинскими сестрами разнокалиберного и разноцветного хлеба: черного, серого и коричневого. Я съел сахар, конфету, маленький кусок колбасы и запивал все это холодной водой. Потом потушил свет и, отодвинув штору из черной бумаги, глянул в окно. На дворе было светло. Значит, был день и я проспал часов шестнадцать. Нужно было идти...

Войдя в театр, я почувствовал странную атмосферу безлюдья. Никто не встретил меня в служебном проходе, и я, опираясь на байсеитовский костыль, прошел через внутренний коридор, не встретив ни одного человека. В коридоре, загораживая проход, стоял ящик. На нем было написано: «аппаратура». Он был перевязан толстыми веревками. Протиснувшись боком, я прошел дальше и увидел сквозь неплотно закрытую дверь следующей

комнаты Зубкипа. Он был похож на лягушку больше, чем когда-либо. Воровато озираясь, он вытащил какую-то папку и разорвал ее в клочки. Я смотрел на него. Я не понимал, что он делает, но во всей его повадке в эту минуту было что-то такое мерзкое, подлое и даже предательское, что у меня просто почки заболели от отвращения, и я ушел.

Пройдя налево, я услышал голоса в буфете.

«Вот и еда», — подумал я и толкнул дверь.

Валя шла через комнату на подламывающих каблучках. Она шла, обходя голые мраморные столики, прямо к стойке. Там стоял человек. Он был в узких брюках; мне показалось, что это лосины, — так туго они облегали его. Валя шла, протягивая к нему руки. Он подал ей стакан. Валя взяла его и пошла за свой столик. Она меня не видела. Я шагнула к ней навстречу.

Я сказал:

— Почему ты не ответила на письмо?

Она взглянула на меня и выронила стакан. Он упал на каменный пол, и кисель разлился розовой лужицей.

А Валя смотрела на меня, и вдруг я увидел, что ее глаза до краев переполнены злостью. Она сказала негромко и внятно:

— ...Как вы изменились! Вы что, с того света, что ли? Я получила вашу записку, она патетична. Меня тошнит от патетики!

Она подошла ко мне близко, и никто не мог слышать ее слов. Я ожидал чего угодно, но она всегда была полна неожиданностей. И тут она сказала мне, глядя в глаза очень откровенно:

— Письмо — это документ, братец...

И пошла мимо.

Значит, так: я получу твое письмо и потом буду показывать его каждому встречному и поперечному и буду похваляться?

Сука.

Я спустился вниз, в кладовую, кладовщик сидел и барабанил пальцами по столу. Увидев меня, он сказал:

— Вернулся?

Я сказал:

— Да. Примите.

Я снял с себя ватник и, привалившись к стене, стянул сапоги. Старик долго и сокрушенно осматривал прожженный, истершийся ватник. Он поворачивал его и так и этак, поближе к свету, и все поглядывал неодобрительно

на меня, качал головой и цокал. Сапоги мои окончательно расстроили его, и он сердито бросил мне мои ботинки. Я снял портянки и переобулся. Стало удивительно легко ногам. Просто казалось, что я босиком. Я поднялся наверх и вышел из театра.

Мне надо было попасть на Тверской бульвар, в райком. Я знал, что делать. Пусть попробуют мне отказать. Я не от себя прошу. Так мы сговорились с Лешкой Фомичовым. Он упал на траву, там, на этой проклятой дороге, он упал на траву и закрыл свои карие очи. Меня надо взять, это за меня просит моя единственная, моя ненаглядная Дуня, она ждет, что я приду и возьму ее в жены. Сережа Любомиров просит за меня и те, кто остался позапрошлой ночью на той стороне, у нашего штаба, когда фриц перелетел и отрезал им путь к жизни. Они посылают меня к вам, товарищ Райком. Я остался цел, но это чудо и значит только то, что я должен доделать работу. Эту страшную работу войны. Я буду делать ее всегда, пока цел. А если я цел не останусь, то останется другой.

Вот так я и скажу в райкоме, пусть попробуют меня не послать, я черт знает до кого дойду,— не имеют права меня браковать!

25

Я еле протолкался через толпы людей. Повсюду стояли столы, кого-то записывали, выкликали, проверяли. Здесь были студенты, рабочие, служащие и даже школьники. Народ рвался на фронт, на врага, и здесь никто не собирался зажимать меня. Просто мне сказали, что я пришел не туда, и сочувственно и благожелательно посоветовали:

— Иди в МК. Раз ты в партизаны, иди туда. Колпачный переулоч.

— Возьмут? — грубо спросил я, нервы мои были напряжены.

— Иди сходи,— уклончиво сказал вихрастый инструктор.

Хотелось мне тогда иметь крылья, но пришлось все-таки идти лешком. Но я не такие куски хаживал, я отдохнул, я надеялся и поэтому дошел быстро и споро.

В коридоре толкался народ. Я увидел женщину в черном платке крест-накрест, туго-натуго облежавшем грудь.

Она была похожа на ту, которая звала с плаката «Родина-мать зовет».

— Двух сынов убили и мужа,— сказал кто-то за ее спиной. Я с любовью смотрел на ее прекрасное лицо. К человеку, от которого все зависело, была очередь, входили по двое, а то и по трое. Я долго ждал. Когда меня вызвали, я вошел в просторную, плохо прибранную комнату, в ней тяжело пахло холодным табачным дымом и за столом неуютно сидел человек с густо заросшим зеленой бородой лицом. Он сидел на табуретке, она скрипела под ним, под его вертким телом. Он был в кожанке. Перед этим человеком стояла девочка в синем пальто. Из-под пальто торчала коричневая юбка, а из-под юбки красные лыжные штаны. Из-под огромной шапки-ушанки свисали две коспчки. Я видел ее худенькое личико, освещенное серыми глазами, огромными и чистыми. Девочка стояла перед человеком в кожанке и что-то говорила. В голосе ее была мольба. С решимостью и надеждой смотрела она на привыкшего к запаху холодного табачного дыма человека. Он же смотрел на нее из-за барьера своих бессонных ночей и моргал красными, воспаленными веками. Он все наклонялся вперед, табуретка скрипела,— видимо, человек хотел получше разглядеть девочку. Выслушав ее, он болезненно поморщился и спросил:

— И что же ты собираешься делать в наших партизанских отрядах?

Девочка взмахнула худенькой рукой и шагнула к столу.

— Взрывать,— сказала она.

Человек в кожанке взглянул на нее, и вдруг что-то осветило его заросшее зеленой щетиной лицо. В глазах появилась нежность и боль. Но он тотчас сдержался, погасил свой свет изнутри и сказал, отвернувшись:

— Иди, девочка, домой...

Она отошла от него и, прислонившись к грязной стене, заплакала. Он скрипнул табуреткой и сказал мне:

— Следующий.

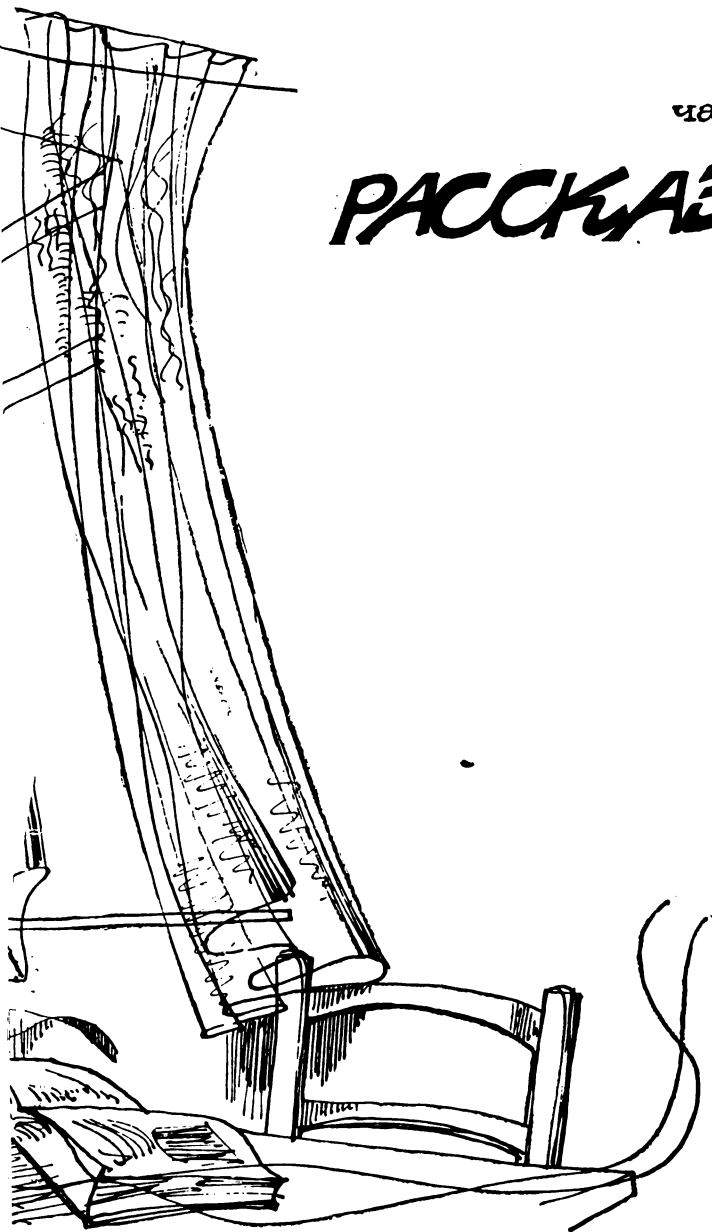
Я подошел к нему, стараясь не хромать, он поговорил со мной и сказал, что ладно, я вполне подойду, и что завтра меня, возможно, отправят к месту назначения, и чтоб я не уходил.

— А пока,— сказал он мне, черкнув что-то на бумажке,— а пока, Королев, можешь спуститься вниз в подвал, найдешь там товарища Андреева, представишь ему эту записку, и он тебе выдаст сапоги и ватник...



часть II

РАССКАЗЫ



РАССКАЖИТЕ МНЕ ПРО СИНГАПУР

Мы с папой поехали на воскресенье в гости, к родным. Они жили в маленьком городе под Москвой, и мы на электричке быстро доехали.

Дядя Алексей Михайлович и тетя Мила встретили нас на перроне.

Алексей Михайлович сказал:

— Ого, Дениска-то как возмужал!

А папа ответил:

— Да, Алексей Михайлович, нам время тлеть, а этим чертенятам — цвести.

Тетя Мила засмеялась и сказала:

— Не болтайте глупости. Иди, Денёк, со мной рядом. Это что за корзинка?

Я сказал:

— Здесь мой пластилин, карандаши и пистолеты...

Тетя Мила засмеялась, и мы пошли через рельсы, мимо станции и вышли на мягкую дорогу; по бокам дороги стояли деревья, и я быстро разулся и пошел босиком, и было немного щекотно и колко ступням, так же как и в прошлом году, когда я в первый раз после зимы пошел босиком; и в это время дорога повернула к берегу, и в воздухе запахло рекой и еще чем-то сладким, и я стал бегать по траве, и скакать, и кричать: «О-га-га-а!» И тетя Мила сказала:

— Телячий восторг.

И когда мы пришли к ней домой, было уже темно, и все сели на террасе пить чай, и мне тоже налили большую чашку. И я пил чай и клевал носом.

Вдруг Алексей Михайлович сказал папе:

— Знаешь, сегодня в ноль сорок к нам приедет Харитоша. Он у нас пробудет целые сутки, завтра только ночью уедет. Он проездом.

Папа ужасно обрадовался:

— Дениска,— сказал он,— твой двоюродный дядька Харитон Васильевич приедет! Он давно хотел с тобой познакомиться!

Я сказал:

— А почему я его не знаю?

Тетя Мила опять засмеялась:

— Потому что он живет на Севере,— сказала она,— и редко бывает в Москве.

Я спросил:

— А он кто такой?

Алексей Михайлович поднял палец кверху:

— Капитан дальнего плавания — вот он кто такой. Не фунт изюму!

У меня даже мурашки побежали по спине. Как? Мой двоюродный дядька — капитан дальнего плавания? И я об этом только что узнал? Папа всегда так — про самое главное вспоминает совершенно случайно!

Я сказал:

— Что ж ты не говорил мне, папа, что у меня есть дядя капитан дальнего плавания? Не буду тебе сапоги чистить!

Тетя Мила снова расхохоталась. Я уже давно заметил, что тетя Мила смеется кстати и некстати. Сейчас она засмеялась некстати. А папа сказал:

— Я тебе говорил еще в позапрошлом году, когда он приехал из Сингапура, но ты тогда был еще маленький. И ты, наверно, забыл. Но ничего, ложись-ка спать, завтра ты с ним увидишься!

Тут тетя Мила взяла меня за руку и повела с террасы в дом, и мы прошли через маленькую комнатку в другую, такую же. Там в углу приткнулась узенькая тахтюшка. А около окна стояла большая цветастая ширма.

— Вот здесь и ложись,— сказала тетя Мила,— раздевайся! А корзинку с твоими пистолетами я повешу у тебя в ногах.

Я сказал:

— А папа где будет спать?

Она сказала:

— Скорее всего, на террасе. Ты знаешь, как папа любит свежий воздух. А что? Ты будешь бояться?

Я сказал:

— И несколько.

Разделся и лег.

Тетя Мила сказала:

— Спи спокойно, мы тут, рядом.

И ушла.

А я улегся на тахтюшке и укрылся большим клетчатым платком. Я лежал и слышал, как они там тихо разговаривают на террасе и смеются, и я хотел спать, но все время думал про своего капитана дальнего плавания.

Интересно, какая у него борода? Неужели растет прямо

из шеи, как я видел на картинке? А трубка какая? Кривая или прямая? А кортик именной или простой? Капитанов дальнего плавания часто награждают именными кортиками за проявленную смелость. Конечно, ведь они там во время своих рейсов каждый день насакаивают на айсберги, или встречают огромных китов и белых медведей, или спасают людей с терпящих бедствие кораблей. Ясно, что тут надо проявлять смелость, иначе сам пропадешь со всеми матросами вместе, и корабль погубишь. А если такой корабль, как атомный ледокол «Ленин», погубить, жалко небось, да? А вообще-то говоря, капитаны дальнего плавания не обязательно ездят только на Север, есть такие, которые в Африке бывают, и у них на корабле живут обезьянки и мапгусты, которые уничтожают змей, я про это читал в книжке. Вот мой капитан дальнего плавания, он в позапрошлом году приехал из Сингапура. Удивительное слово какое: «Сингапур»... Я обязательно попрошу своего дядю рассказать мне про Сингапур, какие там люди, какие там дети, какие лодки и паруса... Обязательно попрошу рассказать. И я так долго думал и незаметно уснул.

... А в середине ночи я проснулся от страшного рычания. Это, наверно, какая-то собака забралась в комнату, учуяла, что я здесь сплю, и это ей не понравилось. Она рычала страшным образом, откуда-то из-под ширмы, и мне казалось, что я в темноте вижу ее наморщенный нос и оскаленные белые зубы. Я хотел позвать папу, но вспомнил, что он спит далеко на террасе, и я подумал, что я никогда еще не боялся собак, так что и теперь тоже нечего трусить. Все-таки мне уже скоро восемь.

Я крикнул:

— Тубо! Спать!

И собака сразу заплямкала губами, как будто поперхнулась, и замолчала.

Я лежал в темноте с открытыми глазами. В окошко ничего не было видно, только чуть виднелась одна ветка. Она была похожа на верблюда, как будто он стоит на задних лапах и служит. Я поставил одеяло козырьком перед глазами, чтобы не видеть верблюда, и стал повторять таблицу умножения на 7, от этого я всегда быстро засыпаю. И верно, не успел я дойти до семь семь — сорок семь, как у меня в голове все закачалось, и я почти уснул, но в это время в углу за ширмой собака, которая, наверно, тоже не спала,

опять зарычала. Да как! В сто раз страшнее, чем в первый раз. У меня даже внутри что-то ёкнуло. Но я все-таки закричал на нее:

— Тубо! Лежать! Спать сейчас же!

Она опять чуточку притихла. А я вспомнил, что моя дорожная корзинка стоит у меня в ногах и что там, кроме моих вещей, лежит еще пакет с едой, который мама положила мне на дорогу. И я подумал, что если эту собаку немножко прикормить, то она, может быть, подбреет и перестанет на меня рычать. И я сел, стал рыться в корзинке, и хотя в темноте трудно было разобраться, но я все-таки вытащил оттуда котлету и два яйца,— мне как раз не было их жалко, потому что они были сварены всмятку. И как только собака опять зарычала, я кинул ей за ширму одно за другим оба яйца:

— Тубо! Есть! И сразу спать!

Она сначала помолчала, а потом зарычала так свирепо, что я понял: она тоже не любит яйца всмятку. Тогда я метнул в нее котлету. Было слышно, как котлета шлепнулась об нее, собака гамкнула и перестала рычать.

Я сказал:

— Ну вот! А теперь: спать!!! Сейчас же!

Собака уже не рычала, а только сопела. Я укрылся плотнее и уснул...

...Утром я вскочил от яркого солнца и побежал в одних трусиках на террасу. Папа, Алексей Михайлович и тетя Мила сидели за столом. На столе была белая скатерть и полная тарелка красной редиски, и это было очень красиво, и все были такие умытые, свежие, что мне сразу стало весело, и я побежал во двор умыться. Умывальник висел с другой стороны дома, где не было солнца, там было холодно, и кора у деревьев была прохладная, и из умывальника лилась студеная вода, она была голубого цвета, и я там долго плескался и совсем озяб, и побежал завтракать. Я сел за стол, и стал хрустеть редиской и заедать ее черным хлебом, и солить, и славно мне было, так и хрустел бы целый день. Но потом я вдруг вспомнил самое главное!

Я сказал:

— А где же капитан дальнего плавания?! Неужели вы меня обманули?

Тетя Мила рассмеялась, а Алексей Михайлович сказал:

— Эх, ты! Всю ночь проспал с ним рядом и не заметил.

Ну, ладно, сейчас я его приведу, а то он проспит весь день... Устал с дороги.

Но в это время на террасу вышел высоченный человек, с красным лицом и зелеными глазами. Он был в пижаме. Никакой бороды на нем не было. Он подошел к столу и сказал ужасным басом:

— Доброе утро! А это кто? Неужели Денис?

У него было столько голоса, что я даже удивился, где он у него помещается.

Папа сказал:

— Да, эти сто грамм веснушек, это вот и есть Денис, только и всего. Познакомьтесь. Денис, вот твой долгожданный капитан!

Я сразу встал. Капитан сказал:

— Здорово!

И протянул мне руку. Я пожал ее. Она была твердая, как доска. Капитан был очень симпатичный. Но уж очень страшный был у него голос. И потом, где же кортик? Пижамы какая-то. Ну, а трубка где? Все равно уж прямая или кривая, ну хоть какая-нибудь? Не было никакой... Я сел за стол.

— Как спал, Харитоша? — спросила тетя Мила.

— Плохо! — сказал капитан. — Не знаю в чем дело. Всю ночь на меня кто-то кричал. Только, понимаете ли, начну засыпать, как кто-то кричит: «Спать! Спать сейчас же!» А я от этого только просыпаюсь! Потом усталость берет свое, все-таки пять дней в пути, глаза слипаются, я опять начинаю дремать, проваливаюсь, понимаете ли, в сон, опять крик: «Спать! Лежать!» А в завершение всей этой чертовщины на меня стали падать откуда-то разные продукты, яйца, что ли, по-моему, я во сне слышал запах котлет. И еще все мне сквозь сон слышались какие-то непонятные слова: не то «Куш!», не то «Апорт!»...

— Тубо! — сказал я. — Тубо, а не апорт! Потому что я думал, там собака... Кто-то так рычал!

Капитан сказал своим басом:

— Я не рычал. Я, наверно, храпел?..

Это было ужасно. Я понял, что он никогда не подружится со мной. Я встал и вытянул руки по швам. Я сказал:

— Товарищ капитан. Было очень похоже на рычашье.

И я, наверно, немножко испугался.

Капитан сказал:

— Вольно. Садись.

Я сел за стол и почувствовал, что у меня в глазах как

будто песку насыпало, колет, и я не могу смотреть на капитана. Мы все долго молчали.

Потом он сказал:

— Имей в виду, я совершенно не сержусь.

Но я все-таки не мог на него посмотреть.

Тогда он сказал:

— Клянусь своим именованным кортиком.

Он сказал это таким веселым голосом, что у меня сразу словно камень ушел с души.

Я подошел к капитану и сказал:

— Дядя, расскажите мне про Сингапур.

КОТ В САПОГАХ

— Мальчики и девочки,— сказала Раиса Ивановна,— вы хорошо закончили эту четверть. Поздравляю вас. Теперь можно и отдохнуть. На каникулах мы устроим утренник и карнавал. Каждый из вас может нарядиться в кого угодно, а за лучший костюм будет выдана премия, так что готовьтесь.— И Раиса Ивановна собрала тетрадки и ушла.

И когда мы шли домой, Мишка сказал:

— Я на карнавале буду гномом. Мне вчера купили накидку от дождя и капюшон. Я только лицо чем-нибудь занавешу, и гном готов. А ты кем нарядишься?

Я сказал:

— Там видно будет.

И забыл про это дело. Потому что дома мама мне сказала, что она уезжает на 10 дней и чтоб я тут вел себя хорошо и следил за папой. И она на другой день уехала, а я с папой совсем замучился. То одно, то другое, и на улице шел снег, и все время я думал, когда же мама вернется. Я зачеркивал клеточки на своем календаре.

И вдруг неожиданно прибегает Мишка и прямо с порога кричит:

— Идешь ты или нет?

Я спрашиваю:

— Куда?

Мишка кричит:

— Как куда? В школу! Сегодня же утренник и все будут в костюмах! Ты что, не видишь, что я уже гномик?

И правда, он был в накидке с капюшончиком.

Я сказал:

— У меня нет костюма! У нас мама уехала.

А Мишка говорит:

— Давай сами чего-нибудь придумаем! Ну-ка, что у вас дома есть почудней? Ты надень на себя, вот и будет костюм для карнавала.

Я говорю:

— Ничего у нас нет. Вот только папины бахилы для рыбалки.

Бахилы — это такие высокие резиновые сапоги. Если дождик или грязь — первое дело бахилы. Нипочем ноги не промочишь.

Мишка говорит:

— А ну, надевай, посмотрим, что получится!

Я прямо с ботинками влез в папины сапоги. Оказалось, что бахилы доходят мне чуть не до подмышек. Я попробовал в них походить. Ничего, довольно неудобно. Зато здорово блестят. Мишке очень понравилось. Он говорит:

— А шапку какую?

Я говорю:

— Может быть, мамину соломенную, что от солнца?

Мишка говорит:

— Давай ее скорей!

Достал я шапку, надел. Оказалось, немножко великовата, съезжает до носа, но все-таки на ней цветы.

Мишка посмотрел и говорит:

— Хороший костюм, только я не понимаю, что он значит?

Я говорю:

— Может быть, он значит «Мухомор»?

Мишка засмеялся:

— Что ты, у мухомора шляпка вся красная! Скорей всего, твой костюм обозначает «Старый рыбак»!

Я замахал на Мишку:

— Сказал тоже! «Старый рыбак»! А борода где?

Тут Мишка задумался, а я вышел в коридор, а там стояла наша соседка Вера Сергеевна. Она когда меня увидела, всплеснула руками и говорит:

— Ох! Настоящий кот в сапогах!

Я сразу догадался, что значит мой костюм! Я «Кот в сапогах»! Только жалко хвоста нет! И спрашиваю:

— Вера Сергеевна, у вас есть хвост?

А Вера Сергеевна говорит:

— Разве я очень похожа на черта?

— Нет, не очень,— говорю я.— Но не в этом дело. Вот вы сказали, что этот костюм значит «Кот в сапогах», а

какой же кот может быть без хвоста? Нужен какой-нибудь хвост! Вера Сергеевна, поищите, а?

Тогда Вера Сергеевна сказала:

— Одну минуточку! — И вынесла мне довольно дра-
венький рыжий хвостик с черными пятнами.

— Вот,— говорит,— это хвост от старой горжетки. Я в последнее время прочищаю им керогаз, но, думаю, тебе он вполне подойдет.

Я сказал «большое спасибо» и понес хвост Мишке.

Мишка как увидел его, говорит:

— Давай быстренько иголку с ниткой, я тебе пришью. Это чудный хвостик.

И Мишка стал пришивать мне сзади хвост. Он шил довольно ловко, но потом вдруг ка-ак уколел меня.

Я закричал:

— Потихе ты, храбрый портняжка! Ты что, не чувствуешь, что шьешь прямо по-живому?

Мишка сказал:

— Это я немножко не рассчитал!

Да опять как кольнет!

Я говорю:

— Мишка, рассчитывай получше, а то я тебя тресну.

А он:

— Я в первый раз в жизни шью!

И опять — коль!!!

Я прямо заорал:

— Ты что, не понимаешь, что я после тебя буду полный инвалид и не смогу сидеть?

Но тут Мишка сказал:

— Ура! Готово! Ну и хвостик! Не у каждой кошки есть такой!

Тогда я взял тушь и кисточкой нарисовал себе усы, по три уса с каждой стороны, длинные-длинные, до ушей!

И мы пошли в школу.

Там народу было видимо-невидимо, и все в костюмах. Одних гномов было человек пятьдесят. И еще было очень много белых «снежинок». Это такой костюм, когда вокруг много белой марли, а в середине торчит какая-нибудь девочка.

И мы все очень веселились и танцевали. И я тоже танцевал, но все время спотыкался и чуть не падал из-за больших сапог, и шляпа тоже, как назло, постоянно съезжала почти до подбородка.

А потом наша октябрятская вожатая Люся вышла на сцену и сказала звонким голосом:

— Просим «Кота в сапогах» выйти сюда для получения первой премии за лучший костюм!

И я пошел на сцену, и когда входил на последнюю ступеньку, то споткнулся и чуть не упал. Все громко засмеялись, а Люся пожала мне руку и дала две книжки: «Дядю Степу» и «Сказки-загадки». Тут Борис Сергеевич заиграл туш, а я пошел со сцены. И когда сходил, то опять споткнулся и чуть не упал, и опять все засмеялись.

А когда мы шли домой, Мишка сказал:

— Копечпо, гномов много, а ты один!

— Да,— сказал я,— но все гномы были так себе, а ты был очень смешной, и тебе тоже надо книжку. Возьми у меня одну.

Мишка сказал:

— Не надо, что ты!

Я спросил:

— Ты какую хочешь?

Он сказал:

— «Дядю Степу»!

И я дал ему «Дядю Степу».

А дома я скинул свои огромные бахилы, и побежал к календарю, и зачеркнул сегодняшнюю клеточку. А потом зачеркнул уж и заврашнюю.

Посмотрел, а до маминного приезда осталось всего три дня!

РЫЦАРИ

Когда репетиция хора мальчиков окончилась, учитель пения Борис Сергеевич сказал:

— Ну-ка, расскажите, кто из вас что подарил маме на Восьмое марта? Ну-ка, ты, Денис, докладывай.

Я сказал:

— Я маме на Восьмое марта подарил подушечку для иголок. Красивую. На лягушку похожа. Три дня шил, все пальцы исколол. Я две такие сшил.

А Мишка добавил:

— Мы все по две сшили. Одну маме, а другую — Рансе Ивановне.

— Это почему же все? — спросил Борис Сергеевич. — Вы что, так сговорились, чтобы всем шить одно и то же?

— Да пет,— сказал Валерка,— это у нас в кружке «Умелые руки» мы подушечки проходим. Сперва проходили чертиков, а теперь подушечки.

— Каких еще чертиков? — удивился Борис Сергеевич. Я сказал:

— Пластилиновых! Наши руководители, Володя и Толя из восьмого класса, полгода с нами чертиков проходили. Как придут, так сейчас: «Лепите чертиков». Ну, мы лепим, а они в шахматы играют.

— С ума сойти,— сказал Борис Сергеевич.— Подушечки! Придется разобраться! Стойте! — И он вдруг весело рассмехался.— А сколько у вас мальчишек в первом «В»?

— Пятнадцать,— сказал Мишка,— а девчонок двадцать пять.

Тут Борис Сергеевич прямо покатился со смеху.

А я сказал:

— У вас в стране вообще женского населения больше, чем мужского.

Но Борис Сергеевич отмахнулся от меня:

— Я не про то. Просто интересно посмотреть, как Раиса Ивановна получает пятнадцать подушечек в подарок! Ну ладно, слушайте: кто из вас собирается поздравить своих мам с Первым мая?

Тут пришла наша очередь смеяться. Я сказал:

— Вы, Борис Сергеевич, наверное, шутите? Не хватало еще и на Май поздравлять.

— А вот и неправильно. Именно, что необходимо поздравить с Маем своих мам. А это некрасиво: только раз в году поздравлять. А если каждый: праздник поздравлять, это будет по-рыцарски. Ну, кто знает, кто такой рыцарь?

Я сказал:

— Он на лошади и в железном костюме.

Борис Сергеевич кивнул.

— Да, так было давно. И вы, когда подрастаете, прочтете много книжек про рыцарей. Но и сейчас если про кого говорят, что он рыцарь, то имеют в виду благородного, самоотверженного, великодушного человека. И я думаю, что каждый пионер должен обязательно быть рыцарем. Поднимите руки, кто здесь рыцарь?

Мы все подняли руки.

— Я так и знал,— сказал Борис Сергеевич,— идите, рыцари!

И мы пошли по домам. А по дороге Мишка сказал:

— Ладно уж, я маме конфет куплю, у меня деньги есть.

И вот я пришел домой, а дома никого нету. И меня даже досада взяла. Вот в кои-то веки захотел быть рыцарем, так денег нет! А тут, как назло, прибежал Мишка, в руках у него уже нарядная коробочка с надписью: «Первое мая». Мишка говорит:

— Готово, теперь я рыцарь за 22 копейки. А ты что сидишь?

— Мишка, ты рыцарь? — сказал я.

— Рыцарь,— говорит Мишка.

— Тогда дай взаймы.

Мишка огорчился:

— Я все истратил до копейки.

— Что же делать?

— Поискать,— говорит Мишка.— Ведь 20 копеек маленькая монетка. Может, куда завалилась хоть одна, давай поищем.

И мы всю комнату облазили: и за диваном, и под шкафом смотрели, и я все туфли мамины перетряхнул, и даже в пудре у нее пальцем поковырял. Нету нигде.

И вдруг Мишка раскрыл буфет.

— Стой, а это что такое?

— Где? — говорю я.— Ах, это... Это бутылки. Ты что, не видишь? Здесь два вина: в одной бутылке черное, а в другой — желтое. Это для гостей, к нам завтра гости придут.

Мишка говорит:

— Эх, пришли бы ваши гости вчера, и были бы у тебя деньги.

— Это как?

— А бутылки,— говорит Мишка.— Да за пустые бутылки всегда деньги дают. На углу. Называется «Прием стеклотары».

Я говорю:

— Что же ты раньше молчал? Сейчас мы это дело уладим! Давай банку из-под компота, вон на окне стоит.

Мишка протянул мне банку, а я открыл бутылку и вылил черновато-красное вино в банку.

— Правильно,— сказал Мишка,— что ему сделается...

— Ну конечно,— сказал я.— А куда вторую?

— Да сюда же,— говорит Мишка,— не все равно? И это вино, и то вино.

— Ну да,— сказал я.— Если бы одно было вино, а другое — керосин, тогда нельзя, а так, пожалуйста, еще лучше. Держи банку.

И мы вылили туда и вторую бутылку.

Я сказал:

— Ставь ее на окно! Так. Прикрой блюдечком, а теперь бежим!

И мы припустились. За эти две бутылки нам дали двадцать четыре копейки. И я купил маме конфет. Мне еще две копейки сдачи дали. Я пришел домой веселый, потому что я стал рыцарем, и как только мама с папой пришли, я сказал:

— Мам, я теперь рыцарь. Нас Борис Сергеевич научил!

Мама сказала:

— Ну-ка расскажи!

Я рассказал, что завтра я маме сделаю сюрприз.

Мама сказала:

— А где же ты деньги достал?

А я сказал:

— Я, мам, пустую посуду сдал. Вот две копейки сдачи.

Тут папа сказал:

— Молодец! Давай-ка мне две копейки на автомат!

Мы сели обедать. Потом папа откинулся на спинку стула и улыбнулся:

— Компотику бы.

— Извини, я сегодня не успела,— сказала мама.

Но папа подмигнул мне:

— А это что? Я давно уже заметил.

И он подошел к окну, снял блюдечко и хлебнул прямо из банки. Что тут было! Бедный папа кашлял так, как будто он выпил стакан гвоздей.

Он закричал не своим голосом:

— Что это такое? Что это за отрава?

Я сказал:

— Папа, не пугайся. Это не отрава. Это два твоих вина!

Тут папа немножко пошатнулся и побледнел.

— Каких два вина?! — закричал он громче прежнего.

— Черное и желтое,— сказал я,— что стояли в буфете. Ты, главное, не пугайся.

Папа побежал к буфету и распахнул дверцу. Потом он заморгал глазами. И стал растирать себе грудь. Он смотрел на меня с таким удивлением, как будто я был не обыкновенный мальчик, а какой-нибудь синенький или в крапинку. Я сказал:

— Ты что, папа, удивляешься? Я вылил два твоих вина в банку, а то где бы я взял пустую посуду? Сам подумай!

Мама вскрикнула:

— Ой!

И упала на диван. Она стала смеяться, да так сильно, что я думал, ей станет плохо. Я ничего не мог понять, а папа закричал:

— Хохочете? Что ж, хохочите! А между прочим, этот ваш рыцарь сведет меня с ума, но лучше я его раньше выдеру, чтобы он забыл раз и навсегда свои рыцарские маперы.

И папа стал делать вид, что он ищет ремень.

— Где он? — кричал папа. — Куда он провалился? Подайте мне этого Айвенго.

А я был за книжным шкафом. Я уже давно был там на всякий случай. А то папа что-то сильно волновался. Он кричал:

— Слыханное ли дело, выливать в банку коллекционный черный «Мускат» урожая 1954 года и разбавлять его жигулевским пивом?!

А мама изнемогала, она от смеха еле-еле проговорила:

— Ведь это он... из лучших побуждений... Ведь он же... рыцарь... Я умру... от смеха.

И она продолжала смеяться.

А папа еще немного пометался по комнате и потом ни с того ни с сего подошел к маме. Он сказал:

— Как я люблю твой смех.

И наклонился и поцеловал маму.

И я тогда спокойно вылез из-за шкафа.

МОЙ ЗНАКОМЫЙ МЕДВЕДЬ

Один раз я пошел на елку в Сокольники. Нам всем выдали по синему картонному билету, он был согнут, как маленькая книжечка, и на первой странице обложки сверкала золотистая надпись: «С Новым годом!» А когда билетик раскрывался, между страницами вырастала нарядная елка, она торчала торчком, и вокруг нее на задних лапах стояло разное зимнее зверье — зайцы и лисички, все в теплых тулупчиках и шапках-ушанках. Это было здорово сделано, и уже из-за одного такого билета мне сразу захотелось пойти к ним в Сокольники, посмотреть, что они там еще приготовили для ребят. Я до этого бывал только на наших школьных елках или просто дома, и эти елки получались, конечно, очень веселые, но все-таки без зверей. Каким-то не такими. И поэтому я решил обязательно сходить в Сокольники. И пошел. И несмотря на то, что на билете было

написано «Начало ровно в 2 часа», я все-таки пришел в половине третьего, потому что я опоздал. Я частенько опаздываю на всякие интересные дела, просто беда какая-то. Один раз явился я в театр, а на сцене какой-то парень поцеловал белокурую девушку, и тут все захлопали и стали кричать «браво», «бис». Тут вспыхнул свет под потолком, и этот парень и девушка стали кланяться, как будто они бог весть какое чудо сотворили. И еще я много раз опаздывал. Помню, мама испекла пирог и говорит:

— Погуляй с полчаса и приходи пирог есть!

И мы во дворе с Мишкой потренировались в хоккее, и я тут же пришел домой, а у нас уже полно гостей, и мама сказала:

— Опоздал, братец! Съели твой пирог! Иди на кухню!

И я пошел на кухню, и мне там дали студня и борща. А разве это замена? Против пирога? Никакого сравнения.

И в этот раз я хотя и встал в 7 часов утра, но сумел все-таки провозиться со всякой чепухой и опоздал на елку.

В Сокольниках народу было видимо-невидимо. Повсюду стояли маленькие домики на курьих ножках, как у Бабы-Яги, и веселье, как скворечники, домики, раскрашенные, парадные и приветливые. В них продавались книжки, сладости, попчики или блины. Еще в Сокольниках стояли сделанные из снега большущие фигуры, красивые кони, ужасные драконы и была Мертвая Голова, и с нею сражался непобедимый Руслан. И были сделаны тридцать три богатыря, и царевна-Лебедь, и космический корабль, и копча этим фигурам и выставкам не было, и я переходил от одной к другой, мне это очень интересно было, потому что я тоже умею лепить, поэтому я оторваться не мог от всей этой снежно-ледяной красоты и шаг за шагом не заметил, что я ушел далеко-далеко от людей, в лес по этой аллее, и не обратил даже внимания на то, что она все время поворачивала в разные стороны и петляла, и некоторые фигуры стояли совсем не в ряд, а где-то посередине, и я постепенно немного заблудился.

В это время с неба посыпался снег, вокруг потемнело, и мне показалось, что пройдет еще очень много времени, если я пойду обратно по этой аллее. Я решил сократить расстояние и двинулся напрямик через лесок, потому что я знал, приблизительно, конечно, где стоит елка. Я помнил, откуда пришел, поэтому я довольно весело побежал обратно по узенькой, засыпанной снегом тропинке. Она тоже петляла в разные стороны, влево, вправо, и по-всякому, и были такие

куски дороги, что пипочем не скажешь, где метро, где Большая елка и где вообще какие-нибудь люди.

Так я бежал довольно долго и даже начал уставать и тревожиться, но вдруг недалеко я увидел большой раскрашенный дом и сразу успокоился. В окне этого дома мелькнул свет, на душе у меня стало повеселее, и я прямо-таки поскакал вперед, но не успел сделать и несколько скачков, как вдруг из-за здоровенной кривой сосны, стоящей впереди, на тропку прямо передо мной выскочил огромный разъяренный медведь. Ужас! Он ревел и мчался прямо на меня. У меня сердце оборвалось. Я захотел крикнуть, но не смог. Язык не шевелился. В горле моментально пересохло. Я остановился как вкопанный, и поднял руки вверх, и хотел было повернуться и удрать, но вспомнил, что медведь догоняет свою жертву с дьявольской быстротой, и если я побегу от него, это, пожалуй, разозлит его еще больше, и тогда уж он, наверное, настигнет меня в какие-нибудь три прыжка и разорвет в клочки! Я так думал, а медведь несся прямо на меня, и пыхтел, как паровоз, рычал и махал лапами, и я вспомнил, что читал, как надо спастись, если встретишь медведя. Нужно притвориться мертвым: он мертвых не ест! И в ту же четверть секунды я грохнулся наземь, и закрыл глаза, и стал сдерживать дыхание, и все-таки дышал, потому что все это получилось с разбегу, и живот у меня так и ходил ходуном. И я слышал, что медведь все еще бежит ко мне, и подумал: «Все! Теперь капут!» Но он все не подбегал...

И за эту секунду я столько успел передумать, такое про себя шептал!.. Никому не расскажу этого. Никогда и никому. Но потом меня все-таки заело любопытство. Я все-таки подумал: интересно, а как это бывает, когда медведь задирает мальчишку? Ведь про это только в книжках читаешь, а наяву никогда не удастся посмотреть. И я начал потихоньку раскрывать левый глаз. Он очень неохотно раскрывался, потому что страшно или ресницы чересчур крепко сцепились, не знаю, но я его поборол, этот глаз, и все-таки раскрыл. Смотрю, а медведь стоит надо мной, опять-таки на задних лапах, и у него такой вид, словно он не знает, как ему быть. И сквозь меня снова, как молния, пролетела мысль. Я вспомнил еще одно средство спасения. Медведь очень нервный, и нужно его испугать как следует. Может быть, наорать? Я сразу подумал, как в сказке Иванушка-дурачок: «Э, была не была! Двум смертям не бывать, а одной не миновать!»

И я заорал страшным голосом:

— Пошшел вон отсюда!

Медведь вздрогнул и шарахнулся в сторону. Он отскочил от меня, как будто его током ударило. А когда отскочил, то уже не остановился, а припустил от меня. Он бежал быстро-быстро и все еще не вставал на четвереньки, видно, был очень испуган и забыл про все на свете. А я схватил ледышку килограмма на два, что лежала рядом со мной, да как метну ему вдогонку, чтоб он, значит, еще лучше бежал от меня: теперь небось поймет, что со мной шутки плохи! И эта ледышка довольно метко угодила ему в самую башку. Тюк! Лучше не надо! Медведь даже споткнулся от этого удара. И тут случилось чудо!

Медведь вдруг остановился, обернулся ко мне и сказал:

— Мальчик, не хулигань!

Я был так испуган, что сразу даже не сообразил, что так на свете не бывает, чтобы медведи по-человечески разговаривали, я просто сказал ему:

— Вы сами не хулиганьте! Сам сожрать меня хотел!

Тут он сказал:

— Ты что? Серьезно? Ты испугался меня? Ты что, подумал, что я настоящий? Не бойся, не бойся, я не медведь! Я артист! Понял? Я хотел с тобой пошутить, а ты в обморок упал... Я артист...

У меня прямо отлегло от сердца... Я засмеялся. В самом деле, какой же я глупый! Я и позабыл, что на елках артисты часто наряжаются медведями, чтобы ребят потешить, и это, видно, был именно такой артист. Я поуспокоился и сказал:

— А чем докажете?

Он сказал:

— Да вот.

И снял с себя голову. Как горшок с частокола. Как шапку. Взял и снял. Очень красивая была голова, с большими клыками и с малиновым языком. Лохматая и глаза блестящие. Артист держал ее на вытянутых руках и говорил:

— На, возьми! Подержи, не бойся. А я подышу свежим воздухом, отдохну немного. Уж очень тяжела. А ты метко в нее попал, хорошо, что она не моя, а была бы настоящая, что тогда, а?

И он стал вертеть своей настоящей головой. Настоящая была у него какая-то неказистая. Лысая. С жалобными круглыми глазами...

Да, вот какие дела бывают. Только что я умирал от

страха, а теперь вот стою и держу медвежью голову под мышкой, как арбуз, а хозяин этой ужасной головы, оказывается, артист. Я стоял, разинув рот, а артист смотрел на меня и улыбался. Потом он чуточку скривился и сказал:

— Сердце колет... Нельзя мне волноваться. И бегать нельзя. Пойдем, проводи меня.

И он протянул мне лапу, то есть руку, и мы пошли к дому, который стоял неподалеку. Это я к нему бежал недавно. Мы почти уже дошли, но вдруг из дома выскочил какой-то клоун и, увидев нас с медведем, закричал:

— Аврашов, что же вы? Где же вы? Опаздываем! Спешим, нам надо еще у Книжного Городка сплясать.

— Как? — закричал Артист-Медведь. — Еще плясать? Я сегодня уже пять раз плясал! Хватит с меня!.. Что они там, все с ума посходили?

— Гусажин велел, — сказал Клоун, — у него там прорыв. Надо подбавить смеху. Бежим!

— У меня сердце колет, — сказал Артист-Медведь, — а вы, Гоша: «Бежим». Пойдем потихоньку. Давай, мальчуган, — сказал он мне, — давай сюда мою голову, ничего не напишешь.

Он пожал мне руку своими когтистыми лапами.

— Иди туда, — сказал он и показал в сторону, — сейчас я там плясать буду.

И я пошел, куда он сказал, и скоро пришел, и там были артисты, они задавали вопросы, а ребята отвечали в рифму. Это было скучновато, но вдруг неожиданно появился клоун. Он колотил в медный таз, а за ним ковылял мой знакомый медведь. Клоун пищал, и чихал, и показывал фокусы, и потом он вытащил из кармана маленькую гармошку и стал на ней пиликать. А медведь затоптался на месте, и, наконец, видно, разогрелся, и пошел плясать. Он неплохо плясал, и выламывался, и вывертывался, и рычал, и бросался на ребят, и те со смехом отскакивали. Он много еще вытворял всякой потехи, это все долго длилось. А я стоял в стороне и ждал, когда закончится это выступление, потому что мне во что бы то ни стало нужно было увидеть еще раз его человеческое лицо, его жалобные, усталые и круглые глаза.

НА САДОВОЙ БОЛЬШОЕ ДВИЖЕНИЕ

У Ваньки Дыхова был велосипед. Довольно старый, но все-таки ничего. Раньше это был велосипед Ванькиного

папы, но когда велосипед сломался, Ванькин папа сказал: — Вот, Ванька, чем целый день гонка гонять, на тебе эту машину, отремонтируй ее, и будет у тебя свой велосипед. Он, в общем, еще хоть куда. Я его в тысяча девятьсот пятьдесят четвертом году купил на барахолке, он тогда почти новый был.

И Ванька так обрадовался этому велосипеду, что просто трудно передать. Он его утащил в самый конец двора и совсем перестал гонка гонять, наоборот, он целый день возился со своим велосипедом: стучал, колотил, отвинчивал и привинчивал. Он весь чумазый стал, наш Ванька, от машинного масла, и пальцы у него были все в ссадинах, потому что он, когда работал, часто промахивался и попадал себе молотком по пальцам. Но все-таки дело у него ладилось, потому что у них в пятом классе проходят слесарное дело, а Ванька всегда был отличником по труду. И я Ваньке тоже помогал чинить машину, и он каждый день говорил мне:

— Вот погоди, Дениска, когда мы починим, я тебя на ней катать буду. Ты сзади, на багажнике, будешь сидеть, и мы с тобой всю Москву изъездим!

И за то, что он со мной так дружит, хотя я всего только во втором, я еще больше ему помогал и, главное, старался, чтобы багажник получился красивый. Я его четыре раза черным лаком покрасил, потому что он был все равно что мой собственный. И он у меня так сверкал, этот багажник, как новенькая машина «Волга», и я все радовался, как я буду сидеть на нем, и держаться за Ванькин ремень, и мы будем носиться по всему миру.

И вот однажды Ванька поднял свой велосипед с земли, подкачал шины, протер его весь тряпочкой, и сам умылся из банки, и зацебил брюки внизу бельевыми зажимами. И я понял, что приближается наш с ним праздник. Ванька сел на машину и поехал. Он сначала объехал не торопясь вокруг двора, и машина шла под ним мягко-мягко, и было слышно, как приятно трутся о землю шины. Потом Ванька прибавил скорости — и спицы засверкали, и Ванька пошел выковыривать номера, и стал петлять и крутить восьмерки, и разгонялся изо всех сил, и сразу резко тормозил, и машина останавливалась под ним как вкопанная. И он по-всякому ее испытывал, как летчик-испытатель, а я стоял и смотрел, как механик, который стоит внизу и смотрит на штуки своего пилота. И мне было приятно, что Ванька так здорово ездит, хотя я могу, пожалуй, еще лучше, во всяком случае не ху-

же. Но велосипед был не мой, велосипед был Ванькин, и нечего тут долго разговаривать, пускай он делает на нем все что угодно. Приятно было видеть, что машина вся блестит от краски, и невозможно было видеть, догадаться, что она старая. Она была лучше любой новой. Особенно багажник. Любо-дорого было смотреть на него, прямо сердце радовалось.

И Ванька скакал так на этой машине, наверное, с полчаса, и я уже стал побаиваться, что он совсем забыл про меня, но нет, напрасно я так подумал про Ваньку. Он подъехал ко мне, ногой уткнулся в забор и говорит:

— Давай влазь.

Я, пока карабкался, спросил:

— А куда поедем?

Ванька сказал:

— А не все равно? По белу свету!

И у меня сразу появилось такое настроение, как будто на нашем белом свете живут одни только веселые люди, и все они только и делают, что ждут, когда же мы с Ванькой к ним приедем в гости. И когда мы к ним приедем — Ванька за рулем, а я на багажнике, — сразу начнется большущий праздник, и флаги будут развеваться, и шарики летать, и песни, и духовые оркестры будут греметь, и клоуны ходить на голове.

Такое вот у меня было удивительное настроение, и я примостился на свой багажник и схватился за Ванькин ремень. Ванька крутнул педали — и прощай, папа, прощай, мама! Прощай, весь наш старый двор, и вы, голуби, тоже до свидания! Мы уезжаем кататься по белу свету! Ванька вырулил со двора, потом за угол, и мы поехали разными переулками, где я раньше ходил только пешком. И все теперь было совершенно по-другому, незнакомое какое-то, и Ванька все время позванивал в звонок, чтобы не задавить кого-нибудь!

«Ззь! Ззь! Ззь!»

И пешеходы выпрыгивали из-под нашей машины, как куры, и мы мчались с неслыханной быстротой, и мне было очень весело, и на душе было свободно, и очень хотелось горланить что-нибудь отчаянное. И я горланил букву «а». Вот так: «Ааааа!..» И очень смешно получалось, когда Ванька въехал в один старенький переулок, в котором дорога была вся в булыжниках, как при царе Горохе. Машину стало трясти, и моя оралка на букву «а» стала прерываться, как будто стоило ей вылететь изо рта, как кто-то сразу обрезал ее острыми ножницами и кидал на ветер.

Получалось: «А! а! а! а!» Но потом опять мы покатали по асфальту, и все снова пошло как по маслу: «Ааааа-ааааа!»

И мы еще долго ездили по переулкам и наконец очень устали. Ванька остановился, и я спрыгнул с багажника. Ванька сказал:

— Ну, как?

— Блеск,— сказал я.

— Тебе удобно было?

— Как на диване,— сказал я,— еще удобней. Что за машина! Прямо экстра-класс!

Он засмеялся и пригладил свои растрепанные волосы. Лицо у него было пыльное, грязное, и только глаза синели. И зубы блестели вовсю.

И вот тут-то к нам с Ванькой и подошел этот парень. Он был высокий, и у него был золотой зуб. На нем была рубашка с короткими рукавами, и на руках у него были разные рисунки, портреты и пейзажи. И за ним плелась такая лохматенькая собачушка, сделанная из разных шерстей. Были кусочки шерсти черненькие, были беленькие, попадались рыженькие и был один зеленый... Хвост у нее завивался крендельком, одна нога поджата... Этот парень сказал:

— Вы откуда, ребята?

Мы ответили:

— С Трехпрудного.

Он сказал:

— Вона! Молодцы! Откуда доехали! Это твоя машина?

Ванька сказал:

— Моя. Была отцовская, теперь моя. Я ее сам отремонтировал. А вот он,— Ванька показал на меня,— он мне помогал.

Этот парень сказал:

— Да. Смотри ты!.. Какие неказистые ребята, а прямо химики-механики.

Я сказал:

— А это ваша собака?

Этот парень кивнул:

— Ага. Моя. Это очень ценная собака. Породистая. Испанский такс.

Ванька сказал:

— Ну что вы! Какая же это такса? Таксы узкие и длинные.

— Не знаешь, так молчи,— сказал этот парень.— Московский там или рязанский такс длинный, потому что он

все время под шкафом сидит и растет в длину, а это собака другая, ценная. Она верный друг. Кличка — Жулик.

Он промолчал. Потом вздохнул три раза и сказал:

— Да что толку! Хоть и верный пес, а все-таки собака. Не может мне помочь в моей беде...

И у него на глазах появились слезы! У меня прямо сердце упало: что с ним?

— Какая у вас беда?

Этот парень сразу покачнулся и прислонился к стене.

— Бабушка помирает,— сказал он и стал часто-часто хватать воздух губами и всхлипывать.— Помирает бабуся! У ней двойной аппендицит...

Он посмотрел на нас искоса и добавил:

— Двойной аппендицит и корь тоже на левой ноге...

Тут он заревел и стал вытирать слезы рукавом. У меня заколотилось сердце. А парень прислонился к стене поудобнее и стал выть довольно громко. А его собака, глядя на него, тоже завывала. И они оба так стояли и выли — жутко было слышать. От этого воя Ванька даже побледнел под свою пылью. Он положил свою руку на плечо этому парню и сказал дрожащим голосом:

— Не войте, пожалуйста! Зачем вы так воете?

— Да как же мне не выть,— сказал этот парень и замолтал головой,— как же мне не выть, когда у меня нет сил дойти до аптеки? Три дня не ел! Ай-уй-уй-юй!— И он еще хуже завыл. И ценная собака такс — тоже. И никого вокруг не было. И я прямо не знал, что делать...

Но Ванька не растерялся нисколько.

— А рецепт у вас есть? — закричал он.— Если есть, давайте его поскорее сюда, я сейчас же слетаю на машине в аптеку и привезу лекарство. Я быстро слетаю!

Я чуть не подскочил от радости. Вот так Ванька, молодец! С таким человеком не пропадешь, он всегда знает, что надо делать. Сейчас мы с ним привезем этому парню лекарство и спасем его бабушку от смерти.

Я крикнул:

— Давайте же рецепт! Нельзя терять ни минуты!

Но этот парень задергался еще хуже и замахал на нас руками, перестал выть и заорал:

— Нельзя! Куда там! Вы что? В уме? Да как же это я пушу двух таких пацанят на Садовую? А? Да еще на велосипеде? Вы что? Да вы знаете, какое там движение? А? Вас там через полсекунды в клочки разорвет... Куда руки, куда ноги, головы отдельно. Ведь грузовики-пятитонки!

Краны подъемные мчатся! Вам хорошо, вас задавят, а мне за вас отвечать придется! Не пущу я вас, хоть убейте! Пусть лучше бабушка умрет, бедная моя Февронья Поликарповна!

И он снова завыл своим толстым басом. Ценная собака такс вообще выла без остановки. Я не мог вынести, что этот паренёк такой благородный и что он согласен рисковать бабушкиной жизнью, только бы с нами ничего не случилось. У меня от всего этого губы стали кривиться в разные стороны. Да и у Ваньки тоже глаза стали какие-то подмоченные, и он шмыгнул посом.

— Что же нам делать?

— А очень просто,— сказал этот паренёк деловитым голосом.— Давайте ваш велосипед, я на нем съезжу. И сейчас вернусь... Век свободы не видать!

И он провел ладонью поперек горла. Это, наверно, была его страшная клятва. Он протянул руку к машине. Но Ванька держал ее довольно крепко. Этот паренёк подергал ее, потом бросил и снова зарыдал:

— Ой-ой-ой! Погибает моя бабушка, погибает ни за пюх табаку, погибает ни за рубль за двадцать, ой-уюю!..— И он стал рвать со своей головы волосы. Прямо вцепился и рвет двумя руками.

Я уже не смог выдержать такого ужаса. Я заплакал и сказал:

— Дай ему велосипед, ведь умрет бабушка. Если бы у тебя так?

А Ванька держится за велосипед и рыдает:

— Лучше уж я сам съезжу...

Тут этот паренёк посмотрел на Ваньку безумными глазами и захрипел, как сумасшедший:

— Не веришь, да? Не веришь? Жалко на минутку дать свой драндулет? А старушка пусть помирает? Да? Бедная старушка в беленьком платочке пусть помирает от кори? Пускай, да? А пионер с красным галстуком жалеет драндулет! Эх вы, душегубы! Собственники!

Он оторвал от рубашки пуговку и стал топтать ее ногами. А мы не шевелились. Мы совершенно изревелись с Ванькой. Тогда этот паренёк вдруг ни с того ни с сего подхватил с земли свою ценную собаку и стал совать ее то мне, то Ваньке в руки:

— Натё! Друга вам отдаю в залог! Верного друга отдаю! Теперь веришь? Веришь или нет?! Ценная собака идет в залог, ценная собака такс!

И он все-таки всунул эту собачонку Ваньке в руки. И тут меня осенило. Я сказал:

— Ванька, он же собаку оставляет нам как заложника. Ему теперь никуда не деться, она же его друг, и к тому же ценная. Дай машину, не бойся.

И тут Ванька дал парню руль и сказал:

— Вам на пятнадцать минут хватит?

— Много! — сказал парень. — Куда там! Пять минут на все про все. Ждите меня тут. Не сходите с места!

И он, верно, ловко вскочил на машину и с места ходко взял и прямо свернул на Садовую. И когда сворачивал за угол, ценная собака такс вдруг прыгнула с Ванькиных рук и, как молния, помчалась за парнем. Ванька крикнул мне:

— Держи!

Но я сказал:

— Куда там, нипочем не догнать! Она за хозяином побежала, ей без него скучно! Вот что значит верный друг. Мне бы такую...

А Ванька сказал так робко и с вопросом:

— Но ведь она же заложница?

— Ничего, — сказал я, — они скоро оба вернутся.

И мы подождали пять минут.

— Что-то его нет, — сказал Ванька.

— Очередь, наверно, — сказал я.

Потом прошло еще часа два. Этого парня не было. И ценной собаки тоже. Когда стало темнеть, Ванька взял меня за руку.

— Все ясно, — сказал он, — пошли домой...

— Что ясно... Ванька? — сказал я.

— Дурак я, дурак, — сказал Ванька. — Не вернется он никогда, этот тип, и велосипед не вернется. И ценная собака такс тоже.

И больше Ванька не сказал ни слова. Он, наверно, не хотел, чтобы я думал про страшное. Но я все равно про это думал.

Ведь на Садовой такое движение...

СТАРЫЙ МОРЕХОД

Мария Петровна часто ходит к нам чай пить. Она вся такая полная, платье на нее натянуто тесно, как наволочка на подушку. У нее в ушах разные сережки болтаются, и ду-

шится она чем-то сухим и сладким, я когда этот запах слышу, так у меня сразу горло сжимает. Мария Петровна всегда, как только меня увидит, так сразу начинает приставать, кем я хочу быть и какая девочка в классе мне больше всех нравится. Да никакая, вот и все! Я ей уже пять раз объяснял, а она все хохочет и грозит мне пальцем! Чудная. Она когда первый раз к нам пришла, на дворе была весна, деревья все распустились и уже пахло зелению, и хотя был уже вечер, все равно было светло. И вот мама стала меня посылать спать, и когда я не захотел ложиться, эта Мария Петровна вдруг говорит:

— Будь умницей, ложись спать, а в следующее воскресенье я тебя на дачу возьму, на Клязьму. Мы на электричке поедем. Там речка есть и собака, и мы на лодке покатаемся все втроем...

И я сразу лег, и укрылся с головой, и стал думать о следующем воскресенье, как я поеду к ней на дачу, и пробежусь босиком по траве, и увижу речку, и, может быть, мне дадут погрести, и уключины будут звенеть, и вода будет булькать, и с весел в воду будут стекать капли прозрачные, как стекло. И я подружусь там с собачонкой, Жучкой или Тузиком, и буду смотреть в его желтые глаза, и потрогаю его язык, такой красивый и приятный, когда он его высунет от жары.

И я так лежал, и думал, и слышал смех Марии Петровны, и незаметно заснул, и потом целую неделю, когда ложился спать, думал все то же самое, и когда наступила суббота, я вычистил ботинки и зубы и взял свой перочинный ножик и наточил его о плиту, потому что мало ли какую я палку себе вырежу в лесу в деревне, может быть, даже ореховую. А утром я встал раньше всех, и оделся, и стал ждать Марию Петровну. Папа, когда позавтракал и прочитал газеты, сказал:

— Пошли, Дениска, на Чистые, погуляем?

Но я ему сказал:

— Что ты, папа! А Мария Петровна? Она сейчас придет за мной, и мы отправимся на Клязьму. Там собака и лодка. Я ее должен подождать.

Папа помолчал, потом посмотрел на маму, потом пожал плечами и стал пить второй стакан чаю. А я быстро позавтракал и вышел во двор. Я гулял у ворот, чтобы сразу увидеть Марию Петровну, когда она придет. Но ее что-то долго не было. Тогда ко мне подошел Мишка, он сказал:

— Пошли слазим на чердак! Посмотрим, родились голубята или нет...

А я сказал Мишке:

— Понимаешь, не могу... Я в деревню уезжаю на денек. Там собака есть п лодка. Сейчас за мной одна тетенька придет, и мы поедем с ней на электричке.

Тогда Мишка сказал:

— Вот это да! А может, вы и меня захватите?

Я очень обрадовался, что Мишка тоже согласен ехать с нами, все-таки мне с ним куда интереснее будет, чем только с одной Марией Петровной. Я сказал:

— Какой может быть разговор? Конечно, мы тебя возьмем с удовольствием! Мария Петровна добрая, чего ей стоит?!

И мы стали вдвоем ждать с Мишкой. Мы выпли в переулок и долго стояли и ждали, и когда появлялась какая-нибудь женщина, Мишка обязательно спрашивал:

— Эта?

И через минуту снова:

— Вон та?

Но это все были незнакомые женщины, и нам стало скучно, жарко, и мы устали так долго ждать.

Мишка рассердился и сказал:

— Мне надоело!

И ушел.

А я ждал. Я хотел ее дождаться. Я ждал до самого обеда. Во время обеда папа опять сказал, как будто между прочим:

— Так идешь на Чистые? Давай решай, а то мы с мамой пойдем в кино!

Я сказал:

— Я подожду. Ведь я обещал ее подождать. Не может она не прийти!

Но она не пришла. А я не был в этот день на Чистых прудах и не посмотрел на голубей, и папа, когда пришел из кино, велел мне уходить от ворот. Он обнял меня за плечи и сказал, когда мы шли домой:

— Будет еще деревня в твоей жизни, и трава будет, и речка, и лодка, и собака... Все будет, держи нос повыше.

Но я, когда лег спать, я все равно стал думать про деревню, лодку и собачонку, только как будто я там не с Марией Петровной гуляю, а с Мишкой и с папой или с Мишкой и мамой. И время потекло, оно проходило, и я почти совсем забыл про Марию Петровну, как вдруг однажды

трах-тарарах! Пожалуйте! Дверь растворяется, и она входит собственной персоной. И сережки в ушах звяк-звяк, и с мамой поцелуйство — чмок-чмок, и на всю квартиру пахнет чем-то сухим и сладким, и все садятся за стол, и х-ха-ха-ха-ха и хо-хо-хо, и начинают пить чай. Но я не вышел к Марии Петровне, я сидел за шкафом, потому что я сердился на Марию Петровну. А она сидела как ни в чем не бывало, вот что было удивительно! И когда она напилась своего любимого чая, она вдруг ни с того ни с сего сама ко мне залезла и схватила меня за подбородок:

— Ты что такой угрюмый?

— Ничего,— сказал я.

— Давай вылезай,— сказала Мария Петровна.

— Мне и здесь хорошо!— сказал я.

Тогда она захохотала, и все на ней брякало от смеха, и когда отсмеялась, она сказала:

— А чего я тебе подарю...

Я сказал:

— Ничего не надо!

Она сказала:

— Саблю не надо?

Я сказал:

— Какую?

А она:

— Буденновскую. Настоящую. Кривую.

Вот это да! Я сказал:

— А у вас есть?

— Есть,— сказала она.

— Самой небось нужно? — сказал я.

Но она улыбнулась.

— А зачем мне? Я женщина, я военному делу не училась, зачем мне сабля? Лучше я ее тебе подарю.

Я сказал:

— А когда?

— Да завтра,— сказала она, и было видно по ней, что ей нисколько не жалко сабли. Я даже подумал, что она, наверно, глуповатая женщина, раз она добровольно отдает саблю. А она говорит дальше:

— Вот завтра придешь после школы, а сабля здесь. Вот здесь, я ее тебе прямо на кровать положу.

— Ну ладно,— сказал я, и вылез из-за шкафа, и сел за стол, и тоже пил с нею чай, и проводил ее до дверей, когда она уходила.

И на другой день в школе я еле досидел до конца уро-

ков и побежал домой сломя голову. Я бежал и размахивал правой рукой, в ней у меня была невидимая сабля, и я рубил и колол фашистов, и защищал черных ребят в Алжире, и перерубил всех врагов Кубы. Я из них прямо капусту нарубил. Это было, пока я бежал домой, еще все как будто, но дома меня ожидала сабля, настоящая буденновская сабля, и я знал, что в случае чего я сразу запишусь в добровольцы, и раз у меня есть собственная сабля, меня обязательно примут. И тогда я буду герой, я поеду на Кубу, и Фидель Кастро снимется со мной в газету, и мы там оба будем стоять на фото храбрые и веселые, я с саблей, а он с бородой.

И когда я вбежал в комнату, я сразу подбежал к своей раскладушке. Сабли не было. Я посмотрел под подушку, пошарил под одеялом и заглянул под кровать. Сабли не было. Не было сабли. Мария Петровна не сдержала слова. И сабли не было нигде, и не могло быть, ведь сабли с неба не падают!..

Я подошел к окну. Мама сказала:

— Может быть, она еще придет?

Но я сказал:

— Нет, мама, она не придет. Я так и знал.

Мама сказала:

— Зачем же ты под раскладушку-то лазил?

Я объяснил ей:

— Я подумал: а вдруг она была. Понимаешь? Вдруг. На этот раз.

Мама сказала:

— Понимаю. Иди поешь.

И она подошла ко мне. А я поел и снова встал у окна.

Мне не хотелось идти во двор.

А когда пришел папа, мама ему все рассказала, и он позвал меня к себе. Он снял со своей полки какую-то книгу и сказал:

— Давай-ка, брат, почитаем чудесную книжку про собаку, называется «Майкл — брат Джерри». Джек Лондон написал.

И я быстро устроился возле папы, и он стал читать. Он хорошо читает, просто здорово. Да и книжка была ценная! Я в первый раз слушал такую интересную книжку. Приключения собаки. Как ее украл один боцман. И они поехали на корабле искать клады. А корабль принадлежал трем богачам. Дорогу им указывал Старый Мореход, он был большой и одинокий старик, он говорил, что знает, где лежат несмет-

ные сокровища, и обещал этим трем богачам, что они получат каждый целую кучу алмазов и брильянтов, и эти богачи за эти обещания кормили Старого Морехода. А потом вдруг выяснилось, что корабль не может доехать до места, где клады, из-за нехватки воды. Это тоже подстроил Старый Мореход, и пришлось богачам ехать обратно несолопо хлебавши. Старый Мореход этим обманом добывал себе пропитание, потому что он был израненный бедный старик. И когда мы окончили эту книжку и снова стали ее всю вспоминать с самого начала, папа вдруг засмеялся и сказал:

— А этот-то хорош! Старый-то Мореход! Да он просто обманщик, вроде твоей Марии Петровны.

Но я сказал:

— Что ты, папа? Совсем не похоже. Ведь Старый Мореход обманывал, чтобы спасти свою жизнь. Ведь он же одинокий был, больной. А Мария Петровна? Разве она больная?

— Здорова как бык,— сказал папа.

— Ну да,— сказал я,— ведь если бы Старый Мореход не врал, он бы умер, бедняга, где-нибудь в порту, прямо на голых камнях, между ящиками и тюками, под ледяным ветром и проливным дождем. Ведь у него не было крова над головой. А у Марии Петровны чудесная комната восемнадцать метров со всеми удобствами. И сколько у нее сережек, побрякушек и пупочек!

— Потому что она мещанка,— сказал папа.

И хотя я не знал, что это такое, мещанка, но я понял, что это что-то скверное, по папину голосу, и я ему сказал:

— А Старый Мореход был благородный, он спас своего больного друга, боцмана,— это раз, и ты еще подумай, папа, ведь он обманывал только проклятых богачей, а Мария Петровна — меня. Объясни, зачем она меня-то обманывает, разве я богач?

— Да забудь ты,— сказала мама,— не стоит так переживать...

А папа посмотрел на нее, покачал головой и замолчал, и мы лежали вдвоем на диване и молчали, и мне было тепло рядом с ним, и я захотел спать, но перед самым сном я все-таки подумал:

«Нет, эту ужасную Марию Петровну нельзя даже и сравнивать с таким человеком, как мой милый, добрый Старый Мореход!»

Один раз я сидел, сидел и ни с того ни с сего вдруг такое надумал, что даже сам удивился. Я надумал, что вог как хорошо было бы, если бы все вокруг на свете было устроено наоборот. Ну вот, например, чтобы дети были во всех делах главными и взрослые должны бы были их во всем слушаться. В общем, чтобы взрослые были, как дети, а дети, как взрослые. Вот это было бы замечательно, очень бы было интересно.

Во-первых, я представляю себе, как бы маме «понравилась» такая история, что я хожу и командую ею, как хочу, да и папе небось тоже бы «понравилось», а о бабушке и говорить нечего, она бы, наверно, целые дни от меня ре-вела бы. Что и говорить, я бы показал бы, почем фунт лиха, все бы им припомнил! Например, вот мама сидела бы за обедом, а я ей сказал:

— Ты почему это завела моду без хлеба есть? Вот еще новости! Ты погляди на себя в зеркало, на кого ты похо-жа? Вылитый Кащей! Ешь сейчас же, тебе говорят!

И она бы стала есть, опустив голову, а я бы только подавал команду:

— Быстрее! Не держи за щекой! Опять задумалась? Все решаешь мировые проблемы? Жуй как следует! И не рас-качивайся на стуле!

И тут вошел бы папа, после работы, и не успел бы он даже раздеться, а я бы уже закричал:

— Ага, явился! Вечно тебя надо ждать! Мой руки сей-час же! Как следует, как следует мой, нечего грязь разма-зывать. После тебя на полотенце страшно смотреть. Щет-кой три и не жалей мыла. Ну-ка покажи ногти! Это ужас, а не ногти! Это просто когти! Где ножницы? Не дергайся! Ни с каким мясом я не режу, а стригу очень осторожно! Не хлюпай носом, ты не девчонка... Вот так. Теперь са-дись к столу!

Он бы сел и потихоньку сказал маме:

— Ну, как поживаешь?

А она бы сказала тоже тихонько:

— Ничего, спасибо!

А я бы немедленно:

— Разговорчики за столом! Когда я ем, то глух и нем! Запомните это на всю жизнь! Золотое правило! Папа! Поло-жи сейчас же газету, наказание ты мое!

И они сидели бы у меня как шелковые, а уж когда бы

пришла бы бабушка, я бы прищурился, всплеснул бы руками и заговорил:

— Папа! Мама! Полюбуйтесь-ка на нашу бабуленьку! Каков вид! Грудь распахнута, шапка на затылке! Щеки красные, вся шея мокрая! Хороша, печего сказать! Признавайся: опять в хоккей гоняла? А это что за грязная палка? Ты зачем ее в дом приволокла? Что? Это клюшка? Убери ее сейчас же с моих глаз — на черный ход!

Тут бы я прошелся по комнате и сказал бы им всем трои:

— После обеда все садитесь за уроки, а я в кино пойду! Конечно, они бы сейчас же заныли бы, захныкали:

— И мы с тобой! И мы тоже! Хотим в кино!

А я бы им:

— Ничего, ничего! Вчера ходили на день рождения, в воскресенье я вас в цирк водил! Ишь! Поправилось развлекаться каждый день! Дома сидите! Нате вам вот тридцать копеек на мороженое, и все!

Тогда бы бабушка взмолилась:

— Возьми хоть меня-то! Ведь каждый ребенок может провести с собой одного взрослого бесплатно!

Но я бы увильнул, я сказал бы:

— А на эту картину людям после семидесяти лет вход воспрещен. Сиди дома, гулена!

И я бы прошелся мимо них, нарочно громко постукивая каблуками, как будто я не замечаю, что у них у всех глаза мокрые, и я бы стал одеваться, и долго вертелся бы перед зеркалом, и напевал бы, и они от этого еще хуже бы мучились, а я бы приоткрыл дверь на лестницу и сказал бы... Но я не успел придумать, что бы я сказал бы, потому что в это время вошла мама, самая настоящая, живая, и сказала:

— Ты еще сидишь? Ешь сейчас же, посмотри на кого ты похож! Вылитый Кащей!

ДРУГ ДЕТСТВА

Когда мне было лет шесть или шесть с половиной, я совершенно не знал, кем же я в конце концов буду на этом свете. Мне все люди вокруг очень нравились и все работы тоже. У меня тогда в голове была ужасная путаница, я был какой-то растерянный и никак не мог толком решить, за что же мне приниматься.

То я хотел быть астрономом, чтоб не спать по ночам и наблюдать в телескоп далекие звезды, а то я мечтал стать капитаном дальнего плавания, чтобы стоять, расставив ноги, на капитанском мостике, и посетить далекий Сингапур, и кушать там забавную обезьянку. А то мне до смерти хотелось превратиться в машиниста метро или в начальника станции и ходить в красной фуражке и кричать толстым голосом:

— Го-о-тов!

Или у меня разгорался аппетит выучиться на такого художника, который рисует на уличном асфальте белые полосы для мчащихся машин. А то мне казалось, что неплохо бы стать отважным путешественником вроде Алена Бомбара и переплыть все океаны на утлом челноке, питаясь одной только сырой рыбой. Правда, этот Бомбар после своего путешествия похудел на двадцать пять килограммов, а я всего-то весил двадцать шесть, так что выходило, что если я тоже поплыву, как он, то мне худеть будет совершенно некуда, я буду весить в конце путешествия только одно кило. А вдруг я где-нибудь не поймаю одну-другую рыбку и похудею чуть побольше? Тогда я, наверно, просто растаю в воздухе, как дым, вот и все дела.

Когда я все это подсчитал, то решил отказаться от этой затеи, а на другой день мне уже приспичило стать боксером, потому что я увидел в телевизоре розыгрыш первенства Европы по боксу. Как они молотили друг друга — просто ужас какой-то! А потом показали их тренировку, и тут они колотили уже тяжелую кожаную «грушу» — такой продолговатый тяжелый мяч, по нему надо бить изо всех сил, лупить что есть мочи, чтобы развивать в себе силу удара. И я так нагляделся на все это, что тоже решил стать самым сильным человеком во дворе, чтобы всех побивать в случае чего.

Я сказал папе:

— Папа, купи мне грушу!

— Сейчас январь, груш нет. Съешь пока морковку.

Я рассмеялся:

— Нет, папа, не такую! Не съедобную грушу! Ты, пожалуйста, купи мне обыкновенную кожаную боксерскую грушу!

— А тебе зачем? — сказал папа.

— Тренироваться, — сказал я. — Потому что я буду боксером и буду всех побивать. Купи, а?

— Сколько же стоит такая груша?— поинтересовался папа.

— Пустяки какие-нибудь,— сказал я.— Рублей десять или пятьдесят.

— Ты спятил, братец,— сказал папа.— Перебейся как-нибудь без груши. Ничего с тобой не случится.

И он оделся и пошел на работу.

А я на него обиделся за то, что он мне так со смехом отказал. И мама сразу же заметила, что я обиделся, и тотчас сказала:

— Стой-ка, я, кажется, что-то придумала. Ну-ка, погоди-ка одну минуточку.

И она наклонилась и вытащила из-под дивана большую плетеную корзинку; в ней были сложены старые игрушки, в которые я уже не играл. Потому что я уже вырос и осенью мне должны были купить школьную форму и картуз с блестящим козырьком.

Мама стала копаться в этой корзинке, и, пока она копалась, я видел мой старый трамвайчик без колес и на веревочке, пластмассовую дудку, помятый волчок, одну стрелу с резиновой наплеккой, обрывок паруса от лодки, и несколько погремушек, и много еще разного игрушечного утиля. И вдруг мама достала со дна корзинки здорового плюшевого мишку.

Она бросила его мне на диван и сказала:

— Вот. Это тот самый, что тебе тетя Мила подарила. Тебе тогда два года исполнилось. Хороший мишка, отличный. Погляди какой тугой! Живот какой толстый! Ишь как выкатил! Чем не груша? Еще лучше! И покупать не надо! Давай тренируйся сколько душе угодно! Начинай!

И тут ее позвали к телефону, и она вышла в коридор.

А я очень обрадовался, что мама так здорово придумала. И я устроил мишку поудобнее на диване, чтобы мне сподручней было об него тренироваться и развивать силу удара.

Он сидел передо мной такой шоколадный, но здорово облезлый, и у него были разные глаза: один его собственный — желтый, стеклянный, а другой большой, белый — из пуговицы от наволочки; я даже не помнил, когда он появился. Но это было неважно, потому что Мишка довольно весело смотрел на меня своими разными глазами, и он расставил ноги и выпятил мне навстречу живот, а обе руки поднял кверху, как будто шутил, что вот он уже заранее сдается...

И я вот так посмотрел на него и вдруг вспомнил, как давным-давно я с этим Мишкой ни на минуту не расставался, повсюду таскал его за собой, и нянькал его, и сажал его за стол рядом с собой обедать, и кормил его сложки манной кашей, и у него такая забавная мордочка становилась, когда я его чем-нибудь перемазывал, хоть той же кашей или вареньем, такая забавная милая мордочка становилась у него тогда, прямо как живая, и я его спать с собой укладывал, и укачивал его, как маленького братишку, и шептал ему разные сказки прямо в его бархатные тверденькие ушки, и я его любил тогда, любил всей душой, я за него тогда жизнь бы отдал. И вот он сидит сейчас на диване, мой бывший самый лучший друг, настоящий друг детства. Вот он сидит, смеется разными глазами, а я хочу тренировать об него силу удара...

— Ты что,— сказала мама, она уже вернулась из коридора.— Что с тобой?

А я не знал, что со мной, я долго молчал и отвернулся от мамы, чтобы она по голосу или по губам не догадалась, что со мной, и я задрал голову к потолку, чтобы слезы вкатились обратно, и потом, когда я скрепился немного, я сказал:

— Ты о чем, мама? Со мной ничего... Просто я раздумал. Просто я никогда не буду боксером.

ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ

Я услышал, как мама в коридоре сказала кому-то:

— Тайное всегда становится явным.

И когда она вошла в комнату, я спросил:

— Что это значит, мама, тайное становится явным?

— А это значит, что, если кто поступает нечестно, все равно про него это узнают, и будет ему очень стыдно, и он понесет наказание,— сказала мама.— Понял? Ложись-ка спать!

Я вычистил зубы, лег спать, но не спал, а все время думал: как же так получается, что тайное становится явным? И я долго не спал, а когда проснулся, опять вычистил зубы и стал завтракать. Папа был уже на работе, и мы с мамой были одни.

Сначала я съел яйцо. Это было еще терпимо, потому что я выел один желток, а белок раскромсал со скорлупой,

так, чтобы его не было видно. Но потом мама принесла целую тарелку манной каши.

— Ешь!..— сказала мама.— Безо всяких разговоров!

Я сказал:

— Видеть не могу манную кашу!

Но мама закричала:

— Посмотри, на кого ты стал похож! Вылитый Кащей!
Ешь! Ты должен поправиться!

Я сказал:

— Я ею давяюсь!..

Тогда мама села со мной рядом, обняла меня за плечи и ласково спросила:

— Хочешь, пойдем с тобой в Кремль?

Ну, еще бы... Я не знаю ничего красивее Кремля. Я там был в Грановитой палате, и в Оружейной, стоял возле Царь-пушки и знаю, где сидел Иван Грозный. И еще там очень много интересного. Поэтому я быстро ответил маме:

— Конечно, хочу в Кремль! Даже очень.

Тогда мама улыбнулась:

— Ну вот, ешь всю кашу до конца и пойдем. А я пока посуду вымою. Только помни — ты должен съесть все до дна!

И мама ушла на кухню.

А я остался с кашей наедине. Я пошлепал ее ложкой. Потом посолил. Попробовал, ну, невозможно есть. Тогда я подумал, что, может быть, сахару не хватает? Посыпал песку, пригубил. Еще хуже стало. Я не люблю кашу, я же говорю.

А она к тому же была очень густая. Если бы она была жидкая, тогда другое дело, я бы зажмурился и выпил ее. Тут я взял и долил в кашу кипятку. Все равно было скользко, липко и противно. Главное, когда я глотаю, у меня горло само сжимается и выталкивает эту кашу обратно. Ужасно обидно! Ведь в Кремль-то хочется! И тут я вспомнил, что у нас есть хрен. С хреном, кажется, все можно съесть! Я взял и вылил в кашу всю баночку, а когда немножко попробовал, у меня сразу глаза на лоб полезли, и остановилось дыхание, и я, наверно, потерял сознание, потому что взял тарелку, быстро подбежал к окну и выплеснул кашу на улицу. Потом сразу вернулся и сел за стол.

В это время вошла мама. Она сразу посмотрела на тарелку и обрадовалась:

— Ну что за Деписка, что за парень — молодец. Съел

кашу до дна! Ну, вставай, одевайся, рабочий народ, идем на прогулку в Кремль!— И она меня поцеловала.

В эту же минуту дверь открылась, и в комнату вошел милиционер. Он сказал:

— Здравствуйте,— и побежал к окну, поглядел вниз, потом поглядел на маму и говорит: — А еще интеллигентный человек!

— Что вам нужно?— строго спросила мама.

— Как не стыдно!— Милиционер даже стал по стойке «смирно».— Государство предоставляет вам новое жилье, со всеми удобствами и, между прочим, с мусоропроводом, а вы выливаете разную гадость за окно!

— Не клеветайте,— запальчиво крикнула мама,—ничего я не выливаю!

— Ах, не выливаете,— язвительно рассмеялся милиционер и, открыв дверь в коридор, крикнул: — Пострадавший! Пожалуйте сюда!

И вот к нам вошел какой-то дяденька. Я как на него взглянул, так сразу понял, что в Кремль я не пойду.

На голове у этого дяденьки была шляпа, а на шляпе наша каша. Она лежала почти в середине шляпы, в ямочке, и немножко по краям, где лента, и немножко за воротником, и на плечах, и на левой брочине. Он как вошел, сразу стал мекать.

— Главное, я иду фотографироваться... ммэ... и вдруг такая история... каша ммэ... манная... Горячая, между прочим, сквозь шляпу и то ммэ... жжет... Как же я пошлю свое ммэ... фото? Когда я весь в каше?

Тут мама посмотрела на меня, и глаза у нее стали зеленые, как крыжовник! А уж это верная примета, что мама ужасно рассердилась.

— Извините, пожалуйста,— сказала она тихо,— разрешите я вас почищу, пройдите сюда!

И они все трое прошли в коридор.

А когда мама вернулась, мне даже страшно было на нее взглянуть. Но я себя пересилил, подошел к ней и сказал:

— Да, мама, ты вчера сказала правильно. Тайное всегда становится явным!

Мама посмотрела мне в глаза. Она смотрела долго-долго и потом спросила:

— Ты это запомнил на всю жизнь?

И я ответил:

— Да.

ПОЖАР ВО ФЛИГЕЛЕ ИЛИ ПОДВИГ ВО ЛЬДАХ...

Мы с Мишкой так заигрались в хоккей, что совсем забыли, на каком мы находимся свете, и когда спросили одного проходящего дяденьку, который час, он нам сказал:

— Ровно два.

Мы с Мишкой прямо за голову схватились. Два часа! Каких-нибудь пять минут поиграли, а уже два часа! Ведь это же ужас! Мы же в школу опоздали! Я подхватил портфель и закричал:

— Бегом давай, Мишка!

И мы полетели, как молнии. Но очень скоро устали и пошли шагом. Мишка сказал:

— Не торопись, теперь уже все равно опоздали!

Я говорю:

— Ох, влетит... Родителей вызовут! Ведь без уважительной причины.

Мишка говорит:

— Надо ее придумать. Уважительную эту причину. А то на совет отряда пригласят! Давай, выдумывай поскорее!

Я говорю:

— Давай скажем, что у нас зубы заболели и что мы ходили их вырывать.

Но Мишка только фыркнул:

— У обоих сразу заболели, да? Хором заболели? Нет, так не бывает. И потом: если мы их рвали, то где же дырки?

Я говорю:

— Что же делать? Прямо не знаю... Ой, вызовут на совет и родителей пригласят. Слушай, знаешь что? Надо придумать что-нибудь интересное и храброе, чтобы нас еще и похвалили за опоздание, понял?

Мишка говорит:

— Это как?

А я:

— Ну, например, выдумаем, что где-нибудь был пожар, а мы как будто ребенка из этого пожара вытащили, понял?

Мишка обрадовался:

— Ага, понял! Можно про пожар выдумать, а то еще лучше сказать, как будто лед на пруду проломился и ребенок этот бух! В воду упал! А мы его вытащили... Тоже красиво!

— Ну, да!— говорю я.— Правильно! Но пожар все-таки лучше!

— Ну, нет,— говорит Мишка,— именно, что лопнувший пруд интереснее!

И мы с ним еще немножко поспорили, что интересней и храбрей, и не доспорили, а уже пришли к школе. А в раздевалке наша гардеробщица, тетя Паша, вдруг говорит:

— Ты где это так оборвался, Мишка? У тебя весь воротник без пуговиц. Нельзя таким чучелом в класс являться. Все равно уж ты опоздал, давай хоть пуговицы-то пришью! Вон у меня их целая коробка. А ты, Дениска, иди в класс, нечего тебе тут торчать!

Я сказал Мишке:

— Ты поскорее тут шевелись, а то мне одному, что ли, отдуваться?

Но тетя Паша шуганула меня:

— Иди, иди! А он за тобой! Марш!

И вот я тихонько приоткрыл дверь нашего класса, просунул голову и вижу весь класс, и слышу как Раиса Ивановна диктует по книжке:

— Птенцы пищат!

А у доски стоит Валерка и выписывает корявыми буквами:

— Пценцы пестчат...

Я не выдержал и рассмеялся, а Раиса Ивановна подняла глаза и увидела меня. Я сразу сказал:

— Можно войти, Раиса Иванна?

— Ах, это ты, Дениска, — сказала Раиса Ивановна, — что ж,ходи! Интересно, где это ты пропадал?

Я вошел в класс и остановился у шкафа. Раиса Ивановна взглядела в меня и прямо ахнула:

— Что у тебя за вид? Ты почему такой встрепанный? Где это ты так извалялся? А? Отвечай толком!

А я еще ничего не придумал и не могу толком отвечать, а так говорю, что попало, все подряд, только чтобы время протянуть:

— Я, Раиса Иванна, не один... Вдвоем мы, вместе... с Мишкой... Вот оно как. Ого! Ну и дела. Так и так! И так далее...

А Раиса Ивановна:

— Что, что? Ты успокойся, говори помедленней, а то непонятно! Что случилось? Где вы были? Да говори же!

А я совсем не знаю, что говорить. А надо говорить. А что будешь говорить, когда нечего говорить? Вот я и говорю:

— Мы с Мишкой. Да. Вот... Шли себе и шли. Никого

не трогали. Мы в школу шли: чтоб не опоздать. И вдруг такое! Такое дело, Раиса Ивановна, прямо ох-ох-ох! Ух ты! Ай-яй-яй!

Тут все в классе рассмеялись и загалдели. Особенно громко возликовал Валерка. Потому что он уже давно предчувствовал двойку за своих «щенцов».

А тут урок остановился, и можно смотреть на меня и хотать! Он прямо покатывался. Но Раиса Ивановна быстро прекратила этот базар:

— Тише,— сказала она,— дайте разобраться! Кораблев! Отвечай, где вы были? Где Мишка?

А у меня в голове уже началось какое-то завихрение от всех этих приключений, и я ни с того ни с сего заявил:

— Мишка сейчас тетю Машу к пуговице пришивает! То есть воротник пришивает к тете Паше!

Опять шум и смех, а Раиса Ивановна ужасно покраснела, и тут я понял, что хочешь не хочешь, а теперь уж надо что-нибудь сказать.

Я взял и брякнул:

— Там пожар был!

И сразу все утихло. А Раиса Ивановна побледнела и говорит:

— Где пожар?

А я:

— Возле нас. Во дворе. Во флигеле. Дым валит — прямо клубами. А мы с Мишкой. Мимо этого... Как его... Мимо черного хода! А дверь этого хода кто-то доской снаружи припер. Вот. А мы идем! А оттуда, значит, дым! И кто-то пищит. Задышается. Ну, мы доску отняли, а там маленькая девочка. Плачет. Задышается. Ну, мы ее за руки, за ноги, и спасли. А тут ее мама прибегает, говорит: «Как ваши фамилии, мальчики?» Я про вас в газету благодарность напишу. А мы с Мишкой говорим: «Что вы, какая может быть благодарность за эту пустяковую девчонку. Не стоит благодарности. Мы скромные советские ребята». Вот. И мы ушли с Мишкой. Можно сесть, Раиса Ивановна?

Она встала из-за стола и подошла ко мне. Глаза у нее были серьезные и счастливые. Она сказала:

— Как это хорошо! Очень, очень рада, что вы с Мишей такие молодцы! Иди, садись. Сядь. Посиди...

И я видел, что она прямо хочет меня погладить или даже поцеловать. И мне от всего этого не очень-то весело стало. И я пошел потихоньку на свое место, и весь класс смотрел на меня, как будто я и вправду сотворил что-то

особенное. И на душе у меня скребли кошки. Но в это время дверь распахнулась и на пороге показался Мишка. Все повернулись и стали смотреть на него. А Раиса Ивановна обрадовалась:

— Входи,— сказала она,— входи, Мишук, садись. Сядь. Посиди. Успокойся. Ты ведь, конечно, тоже переволновался!

— Еще как,— говорит Мишка.— Боялся, что вы заругаетесь.

— Ну, раз у тебя уважительная причина,— говорит Раиса Ивановна,— ты мог не волноваться. Все-таки вы с Дениской человека спасли. Не каждый день такое бывает.

Мишка даже рот разинул. Он, видно, совершенно забыл, о чем мы с ним говорили.

— Ч-ч-человека? — говорит Мишка и даже заикается.— С... с... Спасли? А кк... кк... кк... то спас?

Тут я понял, что Мишка сейчас все испортит. И я решил ему помочь, чтобы натолкнуть его и чтобы он вспомнил, и так ласковенько ему улыбнулся и говорю:

— Ничего не поделаешь, Мишка, брось притворяться. Я уж все рассказал!

И сам в это время делаю ему глаза со значением, что я уже все наврал и чтобы он не подвел! А этот дурачок смотрит на меня, как баран на новые ворота. А я ему подмигиваю, уже прямо двумя глазами, и вдруг вижу — он вспомнил! И сразу догадался, что надо делать дальше!

Вот наш милый Мишенька глазки опустил, как самый скромный на свете маменькин сынок, и таким противным, приличным голоском говорит:

— Ну, зачем ты это! Ерунда какая...

И даже покраснел, как настоящий артист. Ай да Мишка! Я прямо не ожидал от него такой прыти, а он сел на парту как ни в чем не бывало и давай раскладывать. И все на него смотрели с уважением, и я тоже. И наверное, этим дело бы и кончилось. Но тут черт все-таки дернул Мишку за язык. Мишка огляделся вокруг и ни с того ни с сего сказал:

— А он вовсе и не тяжелый был. Кило десять, пятнадцать, не больше...

Раиса Ивановна говорит:

— Кто? Кто не тяжелый, кило десять, пятнадцать?

А Мишка:

— Да мальчишка этот.

— Какой мальчишка?

А Мишка:

— Да которого мы с Дениской из-подо льда вытащили...

— Ты что-то путаешь, — говорит Раиса Ивановна, — ведь это была девочка! И потом, откуда же там лед?

А Мишка гнет свое:

— Как откуда лед? Зима, вот и лед! Все Чистые пруды замерзли. А мы с Дениской идем, слышим: кто-то из проруби кричит. Барахтается и пищит. Карабкается. Бултыхается и хватается руками. Ну, а лед что? Лед, конечно, обламывается! Ну мы с Дениской подползли, счас этого мальчишку за руки, за ноги, и на берег. Ну тут дедушка его прибежал, давай слезы лить...

Я уже ничего не мог поделаться. Мишка врал как по писаному, еще лучше меня, а в классе уже все догадались, что он врет и что я тоже врал, и после каждого Мишкиного слова все прямо покатывались, а я ему делал знаки, чтобы замолчал и перестал врать, потому что он не то врал, что нужно, но куда там! Мишка никаких знаков не замечал и заливался соловьем:

— Ну, тут дедушка его говорит: «Сейчас я вам именные часы подарю за этого мальчишку». А мы говорим: «Не надо, мы скромные!»

Я не выдержал и крикнул:

— Только это был пожар! Мишка перепутал!

А он мне:

— Ты что, рехнулся, что ли? Какой может быть в проруби пожар? Это ты все позабыл.

А в классе все падают в обморок от хохота, просто помирают. А Раиса Ивановна ка-ак хлопнет по столу! Все сразу замолчали. А Мишка так и остался стоять с открытым ртом.

Раиса Ивановна говорит:

— Как стыдно врать! Какой позор! И я-то их считала хорошими пионерами! Продолжаем урок!

И все ребята сразу перестали на нас смотреть. А в классе было тихо и как-то скучно. И я написал Мишке записку:

«Вот видишь, надо было говорить правду!»

А он прислал ответ:

«Ну, конечно! Или говорить правду, или получше сговариваться».

СЛОН И РАДИО

Есть на свете такие маленькие радиоприемнички, они поменьше настоящих, величиной с папиросную коробку. И антенна у них выдвигается, ох сильно дает, на весь квартал слышно. Замечательная вещь! Ее моему папе друг подарил. Этот приемник называется транзисторный. В тот вечер, когда нам его подарили, мы все время слушали передачи. Дальний Восток и Ригу, и папа давал мне его в полное распоряжение, я на нем здорово научился играть, и антенну то убирал, то выпускал, и все колесики вертел, и музыка звучала непрерывно и громко, потому что я к этому делу способный, чего уж там говорить.

Я прямо не отходил от этого приемника. Такая ловкая машинка, изящная, и кожей обшитая, и ручечка на месте. Ну, пет слов, хороша.

А в воскресенье утром была прозрачная погода, солнышко светило всюю, и папа сказал прямо с утра:

— Давай, ешь побыстрее, и махнем с тобой в зоопарк. Давно что-то не были, одичали совсем!

От этих слов мне и вовсе весело стало жить, и я быстро собрался.

Ах, люблю я ходить в зоопарк, люблю смотреть на маленькую ланочку и представлять, что ее можно взять на руки и гладить. И у нее по-сумасшедшему стучит сердце, и она взбрыкивает стройными, ловкими ножками. И кажется, что сейчас больно ударит. Но ничего, дело как-то обходится.

Или тигренок. Тоже хорошо бы взять на руки! А он смотрит на тебя ужаснувшимися глазами. Душа в пятки ушла, дыхание заглохло. Бойся, дурачок, наверное, думает, вот я его сейчас съем. Интересно, как это животные умеют свои чувства выражать на лице ясно и четко, как будто тушью на бумаге нарисовано.

А еще хорошо в зоопарке стоять перед загоном зубробизона и думать про него, что это ожившая гора, на которой высечено лицо задумчивого старика, а ты стоишь перед этой горой и вешишь всего-то 25 кило и рост только 98 сантиметров. И пока мы шли, я всю дорогу думал разные разности про Зоологический сад, и шел смирно, не скакал, потому что в руках у меня был транзисторный радиоприемник, в нем журчала музыка. Я переводил его с одной станции на другую, и настройение у меня было самое распрекрасное. А когда мы пришли, папа сказал:

— К слону!

Потому что слон был у папы самый любимый во всем зоопарке. Папа всегда ходил к нему к первому. Как к царю. Поздоровается со слоном, а уж потом отправляется куда глаза глядят. И на этот раз мы поступили так же. Слон стоял, как войдешь, с правой стороны, в отдельном уголке, на небольшом пригорке, уже издали было видно его громадное тело, похожее на африканскую хижину, стоящую на четырех подпорках.

Огромная толпа народу стояла у его загородки и любовалась слоном. Было видно его симпатичное улыбающееся лицо, он шамкал треугольной губой, покачивал шишковатой головой, шевелил ушами. Я сейчас же быстро протолкался сквозь толпу к нашему Шанго, его звали Шанго, он был сыном индийского слона Махмуда, так было написано на специальной дощечке, возле его загородки.

Папа протиснулся вперед и громко крикнул:

— Доброе утро, Шанго Махмудович!

И слон оглянулся и обрадованно закивал головой. Мол, здравствуйте, здравствуйте, где это вы пропадали? И окружающие посмотрели на папу с улыбкой и с завистью. И мне тоже, честно говоря, стало здорово завидно, что вот слон ответил папе. И мне тут же захотелось, чтобы он и меня одарил своим вниманием, и я громко закричал:

— Шанго Махмудович, привет! Смотрите, какая у меня вещь!

И я поднял высоко над собой папин транзисторный радиоприемник. А из приемника текла музыка, он играл разные советские песни, и Шанго Махмудович повернулся и стал слушать эту музыку. И вдруг он высоко задрал свой хобот, протянул его ко мне и неожиданно и ловко выдернул у меня из рук эту несчастную машинку.

Я прямо остолбенел. Да и папа тоже. И вся толпа остолбенела. Наверное, думали, что будет дальше: отдаст? Трахнет оземь? Растопчет ногами? Или как? А Шанго Махмудович, видимо, просто хотел музыку послушать. Он не стал ни бить приемник, ни отдавать. Он держал его, и все! Он слушал музыку. Но тут, как назло, музыка замолкла, наверное, у них там был перерыв, не знаю. Но Шанго Махмудович продолжал прислушиваться. Вид у него был такой, что вот он ждет, когда же приемник заиграет. Но ждать, видно, нужно было долго, потому что приемник молчал. И тут, вероятно, Шанго Махмудович подумал так:

«Что за бесполезную штуку я держу целую вечность

в хоботе? Какого черта она не играет! Ну, интересно, какая она окажется на вкус?»

И недолго думая, этот бедовый слон сунул мой шикарный приемник прямо себе под хобот в свой обросший войлоком рот, да не прожевал, а просто положил, как в сундук, и будьте здоровы, слопал! Съел...

Толпа дружно ахнула и оцепенела. А слон оглядел эту потрясенную толпу с довольно-таки нахальной улыбкой и вдруг сказал придушенным голосом:

— Начнем производственную зарядку! И!..

И из него зазвучала какая-то бурная музыка. Тут все сразу покатились с хохоту, просто животики надрывали, стонали от смеху, из-за этого дикого шума уже не слышно было никаких звуков.

Слон стоял совершенно спокойно. Только в глазах его горело плутоватое выражение.

А когда все стали потихоньку затихать, из слоновьего рта снова раздался чуть приглушенный, но отчетливый голос:

«Быстрые подскоки на одном месте, раз-два, три-четыре».

А в толпе, между прочим, было очень много мальчишек и девочек, и когда они услышали про подскоки, так прямо завизжали от радости. И, не откладывая в долгий ящик, с ходу включились в это дело: раз-два-три-четыре.

Они здорово скакали. И визжали, и орали, и выкидывали разные коленца. Еще бы! Кому же не охота поскакать под слоновью команду. Тут всякий заскачет. Лично я заскакал в ту же секунду. Хотя я прекрасно понимал, что кому-кому, а мне тут меньше всех надо скакать и радоваться. Мне, скорее всего, надо было плакать. Но вместо этого я подскакивал, как мячик: раз-два-три-четыре!

И получается, что у меня же стянули радиоприемник и я же от этого удовольствие получаю. А между тем занятия все время продолжались и шли себе дальше. И слон перешел к следующему упражнению.

— Руки сжать в кулаки, махательные и толкательные движения. Раз-два-три!

Ну, конечно, тут началось светопреставление. Просто чемпионат Европы по боксу. Некоторые мальчишки с девочками совершенно серьезно вошли в аппетит и давай так друг друга валтузить, что только перья полетели. И одна проходящая бабушка спросила у какого-то старика:

— Что здесь происходит? Что за драка?

А он ответил ей шутливо:

— Обыкновенное дело. Слон физзарядку проводит с населением.

Она только рот раскрыла.

Но тут Шанго Махмудович вдруг замолчал, и я понял, что мой приемник все-таки сломался в его животе. Конечно, попал в какую-нибудь слепую кишку, и прощай навек. И в эту же секунду слон посмотрел на меня и, грустно покачивая головой, но с большим намеком, пропел:

— Помнишь ли ты, как улыбалось нам счастье?

Я прямо чуть не заплакал от горя. Помню ли я! Еще бы! Еще секунду, и я бросился бы на этого бродягу с кулаками. Но тут возле него вдруг появился человек в синем халате. В руках у него были веники штук пятьдесят или больше, и он сказал слону:

— Ну-ка, ну-ка, покажи-ка, что у тебя играет? Но только тихонько, тихонько, так, а я вот тебе веничков принес, на-ка покушай.

И он разбросал веники перед слоном.

И Шанго Махмудович очень осторожно положил у ног человека мой радиоприемник. Я крикнул:

— Ура!

А остальные кричали:

— Бис!

Чтобы он, значит, еще приемник вынул изо рта. Как будто у него их целый магазин.

А слон отвернулся и стал жевать веники. Служитель молча подал мне радиоприемник, он был теплый и заслюнявленный, и мы с папой поставили его дома на полку, и теперь включаем каждый вечер. Как звучит! Просто чудо. Приходите слушать!

ГУСИНОЕ ГОРЛО

Когда мы сели обедать, я сказал:

— А я сегодня в гости пойду. К Мишке. На день рождения.

— Ну да? — сказал папа. — Сколько же ему стукнуло?

— Девять, — ответил я. — Ему девять лет, папа, стукнуло. Теперь десятый год пошел.

— Как бежит время, — вздохнула мама. — Давно ли он лежал на подоконнике в ящике от комода, а вот пожалуйста, уже девять лет!

— Ну что ж, — разрешил папа, — сходи, поздравь юбиляра. Ну-ка, расскажи, а что ты подаришь своему другу в этот памятный день?

— Есть подарочек, — сказал я. — Мишка будет здорово обрадуется...

— Что же именно? — спросила мама.

— Гусиное горло! — сказал я. — Сегодня Вера Сергеевна гуся потрошила, и я у нее выпросил гусиное горло, чтобы Мишке подарить.

— Покажи, — сказал папа.

Я вытащил из кармана гусиное горло. Оно было уже вымытое, очищенное, прямо загляденье, но оно было еще сыроватое, недосушенное, и мама вскопчила и закричала:

— Убери сейчас же эту мерзость! Ужас!

А папа сказал:

— А зачем оно нужно? И почему оно скользкое?

— Оно еще сырое. А я его высушу как следует и сверну в колечко. Видишь? Вот так.

Я показал папе. Он смотрел внимательно.

— Видишь? — говорил я. — Узкую горловину я всуну в широкую, брошу туда горошинок штук пять, оно, когда высохнет, знаешь как будет греметь! Первый сорт!

Папа улыбнулся:

— Ничего подарочек... Ну-ну!

А я сказал:

— Не беспокойся. Мишке понравится. Я его знаю.

Но папа встал и подошел к вешалке. Он там порывлся в карманах.

— Ну-ка, — он протянул мне монетки, — вот тебе немного денег. Купи Мишке конфет. А это от меня добавка. — И папа отвинтил от своего пиджака чудесный голубой значок «Спутник».

Я сказал:

— Ура! Мишка будет на седьмом небе. У него теперь от меня целых три подарка. Значок, конфеты и гусиное горло. Это всякий бы обрадовался!

Я взял гусиное горло и положил его на батарею досушиваться. Мама сказала:

— Вымой руки и ешь!

И мы стали дальше обедать, и я ел рассольник и потихоньку стонал от удовольствия. И вдруг мама положила ложку и сказала ни с того ни с сего:

— Прямо не знаю, пускать его в гости или нет?

Вот тебе раз! Гром среди ясного неба! Я сказал:

— А почему?

И папа тоже:

— В чем дело-то?

— Он нас там опозорит. Он совершенно не умеет есть. Стонет, хлебает, везет... Кошмар!

— Ничего, — сказал я. — Мишка тоже стопнет, еще лучше меня.

— Это не оправдание, — нахмурился папа. — Нужно есть прилично. Мало тебя учили?

— Значит, мало, — сказала мама.

— Ничему не учили, — сказал я. — Я ем как бог на душу положит. И ничего. Довольно здорово получается. А чему тут учить-то?

— Нужно знать правила, — сказал папа строго. — Ты знаешь? Нет. А вот они: когда ешь, не чавкай, не причмокивай, не дуй на еду, не стопи от удовольствия и вообще не издавай никаких звуков при еде.

— А я не издаю! Что, издаю, что ли?

— И никогда не ешь перед обедом хлеб с горчицей! — воскликнула мама.

Папа ужасно покраснел. Еще бы! Он недавно съел перед обедом, наверное, целое кило хлеба с горчицей. Когда мама принесла суп, оказалось, что у нее уже нет хлеба, папа весь съел, и мне пришлось бежать в булочную за новым. Вот он теперь и покраснел, но промолчал. А мама продолжала на него смотреть и говорила беспощадным голосом. Она говорила как будто бы мне, но папе от этого было не по себе. И мне тоже. Мама столько наговорила, что я просто ужаснулся. Как же теперь жить? Того нельзя, этого нельзя!..

— Не роняй вилку на пол, — говорила мама. — А если уронил, сиди спокойно, не становись на четвереньки, не ныряй под стол и не ползай там полчаса. Не барабань пальцами по столу, не свисти, не пой! Не хохочи за столом! Не ешь рыбу ножом, тем более если ты в гостях.

— А это вовсе не рыба была, — сказал папа, и лицо у него стало какое-то виноватое, — это были обыкновенные голубцы.

— Тем более. — Мама была неумолима. — Еще чего придумали, голубцы — ножом! Ни голубцы, ни яичницу не едят ножом! Это закон!

Я ужасно удивился.

— А как же голубцы есть без ножа?

Мама сказала:

— А так же, как и котлеты. Вилочкой, и все.

— Так ведь останется же на тарелке! Как быть?

Мама сказала:

— Ну и пусть останется!

— Так ведь жалко же! — взмолился я. — Я, может быть, еще не наелся, а тут осталось... Нужно доесть!

Папа сказал:

— Ну и доедай, чего там!

Я сказал:

— Вот спасибо.

Потом я вспомнил еще одну важную вещь:

— А подливу?

Мама обернулась ко мне.

— Что подливу? — спросила она.

— Вылизать... — сказал я.

У мамы брови подскочили до самой прически. Она стукнула пальцем по столу:

— Не смей вылизывать!

Я понял, что надо спастись.

— Что ты, мама? Я знаю, что вылизывать языком нельзя! Что я, собачонок, что ли! Я, мама, вылизывать никогда не буду, особенно при ком-нибудь. Я тебя спрашиваю: а вымазать? Хлебушком?

— Нельзя! — сказала мама. — Русским языком — никаких вымазываний.

— Так я же не пальцем! — сказал я. — Я хлебом! Мякишкой!

— Отвяжись, — крикнула мама, — тебе говорят!

И у нее сделались зеленые глаза. Как крыжовник. И я подумал: ну ее, эту подливу, не буду я ее ни вылизывать, ни вымазывать, если мама из-за этого так расстраивается. Я сказал:

— Ну ладно, мам. Я не буду. Пусть пропадает.

— А вот кстати, — сказал папа, — я серьезно хочу тебя спросить...

— Спрашивай, — сказала мама, — ты ведь еще хуже маленького.

— Нет, верно, — продолжал папа, — у нас, знаешь, иногда банкеты бывают, всякие там торжества... Так вот: ничего, если я иногда захвачу что-нибудь с собой? Ну, яблочко там или апельсин...

— Не сходи с ума! — сказала мама.

— Да почему же? — спросил папа.

— А потому, что сегодня ты унес яблоко с собою, а

завтра начнешь винегрет в боковой карман закидывать!

— Да, — сказал папа и поглядел в потолок, — да, некоторые очень хорошо знают правила хорошего тона! Прямо профессора! Куда там!.. А как ты думаешь, Дениска, — папа взял меня за плечо и повернул к себе, — как ты думаешь, — он даже повысил голос, — если у тебя собрались гости и вдруг один надумал уходить... Как ты думаешь, должна хозяйка дома провожать его до дверей и стоять там с ним в коридоре чуть не двадцать минут?

Я не знал, что ответить папе. Его это, видимо, очень интересовало, потому что он крепко сжал мое плечо, даже больно стало. Но я не знал, что ему ответить. А мама, наверно, знала, потому что она сказала:

— Если я его проводила, значит, так было нужно. Чем больше внимания гостям, тем, безусловно, лучше.

Тут папа вдруг рассмеялся. Как из песни про блоху:

— Ха-ха-ха-ха-ха! Ха-хахаха-ха! А я думаю, что он не сдохнет, если она не проводит его! Ха-ха-а-ха-ха!

Папа вдруг взъерошил волосы и стал ходить туда-сюда по комнате, как лев по клетке. И глаза у него все время вращались. Теперь он смеялся с каким-то рыком: «Ха-ха! Ррр! Ха-ха! Рр!» Глядя на него, я тоже расхохотался:

— Конечно, не сдохнет! Ха-ха-ха-ха-ха-ха!

Тут случилось чудо. Мама встала, взяла со стола чашку, вышла на серединку комнаты и аккуратно бросила эту чашку об пол. Чашка разлетелась на тысячу кусочков. Я сказал:

— Ты что, мама? Ты это зачем?

А папа вскочил:

— Ничего, ничего. Это к счастью! Ну, давай, Дениска, собирайся. Иди к Мишке, а то опоздаешь! Нехорошо опаздывать на день рождения! Иди и не ешь рыбу ножом, не позорь фамилию!

Я собрал свои подарки и пошел к Мишке. И мы там веселились вовсю. Мы подскакивали на диване чуть не до потолка. Мишка даже стал лиловый от этого подскакивания. А фамилию нашу я не опозорил, потому что угощение было не обед или ужин, а лимонад и конфеты. Мы поели все конфеты, какие были, и даже ту коробочку съели, что я Мишке принес в подарок. А вообще подарков Мишке понесли видимо-невидимо: и поезд, и книжки, и краски. И Мишкина мама сказала:

— Ох, сколько подарков у тебя, Мишук! А тебе какой больше всех нравится?

— Какой может быть разговор? Конечно, гусиное горло!

И покраснел от удовольствия.

А я так и знал.

ХИТРЫЙ СПОСОБ

— Вот,— сказала мама,— полюбуйтесь! На что уходит отпуск? Посуда, посуда, три раза в день посуда! Утром мой чашки, вечером мой чашки, а днем целая гора тарелок! Просто бедствие какое-то!

— Да,— сказал папа,— действительно это ужасно! Как жалко, что ничего не придумано в этом смысле. Что смотрят инженеры! Да, да... Бедные женщины.

Папа глубоко вздохнул и уселся на диван. Мама увидела, как он удобно устроился, и сказала:

— Нечего тут сидеть и притворно вздыхать! Нечего все валить на инженеров. Я даю вам обоим срок! До обеда вы должны что-нибудь придумать и облегчить мне эту проклятую мойку! Кто не придумает, того я отказываюсь кормить! Пусть сидит голодный! Дениска! Это и тебя касается! Намотай себе на ус!

Я сразу сел на подоконник и начал придумывать, как быть с этим делом. Во-первых, я испугался, что мама в самом деле не будет меня кормить, и я, чего доброго, помру от голода, а во-вторых, мне интересно было что-нибудь придумать, раз инженеры не сумели. И я сидел и думал и искоса поглядывал на папу, как у него идут дела. Но папа и не думал думать. Он побрился, потом надел чистую рубашку, потом прочитал штук десять газет и затем спокойненько включил радио и стал слушать какую-то ерунду за истекшую неделю.

Тогда я стал думать еще быстрее. Я сначала хотел выдумать электрическую машину, чтобы сама мыла посуду и сама вытирала, и для этого я немножко развинтил наш электрополотер и папину электробритву «Харьков», но у меня не получалось, куда прицепить полотенце.

Выходило, что при запуске машины бритва разрежет полотенце на тысячу кусочков. Тогда я все свинтил обратно и стал придумывать другое, и часа через два я вспомнил, что читал в газете про конвейер, и от этого я сразу придумал довольно интересную штуку. И когда наступило

время обеда, и мама накрыла на стол, и мы все расселись, я сказал:

— Ну что, папа? Ты придумал?

— Насчет чего? — сказал папа.

— Насчет мойки посуды, — сказал я, — а то мама перестанет нас с тобой кормить.

— Это она пошутила, — сказал папа, — как это она не будет кормить родного сына и горячо любимого мужа?

И он весело рассмеялся. Но мама сказала:

— Ничего я не пошутила, вы у меня узнаете! Как не стыдно? Я уже сотый раз говорю — я задыхаюсь от посуды! Это просто не по-товарищески самим сидеть на подоконнике и бриться и слушать радио, в то время как я укорачиваю свой век, отмывая ваши ужасные чашки и тарелки!

— Ладно, — сказал папа, — что-нибудь придумаем! А пока давайте же обедать! О, эти драмы из-за пустяков!..

— Ах, из-за пустяков? — сказала мама и прямо вся вспыхнула. — Нечего сказать, красиво. А я вот возьму и в самом деле не дам вам обеда, тогда вы у меня не так запоете!

И она сжала пальцами виски и встала из-за стола. И стояла у стола долго-долго и все смотрела на папу. А папа сложил руки на груди, и раскачивался на стуле, и тоже смотрел на маму. И они молчали. И не было никакого обеда. А я ужасно хотел есть. Я сказал:

— Мама. Это только один папа ничего не придумал. А я придумал! Все в порядке, ты не беспокойся! Давайте обедать.

Мама сказала:

— Что же ты придумал?

Я сказал:

— Я придумал, мама, один хитрый способ!

Она сказала:

— Ну-ка, ну-ка!

Я спросил:

— А ты сколько моешь приборов после каждого обеда?

А, мама?

Она ответила:

— Три.

— Тогда кричи «ура!», — сказал я, — теперь ты будешь мыть только один! Я придумал хитрый способ!

— Выкладывай, — сказала папа.

— Давайте сначала обедать,— сказал я,— я во время обеда расскажу, а то ужасно есть хочется.

— Ну, что ж,— вздохнула мама,— давайте обедать.

И мы стали есть.

— Ну? — сказал папа.

— Это очень просто,— сказал я.— Ты только послушай, мама, как все складно получается! Смотри: вот обед готов. Ты сразу ставишь один прибор. Ставишь ты, значит, единственный прибор, наливаешь в тарелку супу, садишься за стол, начинаешь есть и говоришь папе: «Обед готов!»

Папа, конечно, идет мыть руки, и, пока он их моет, ты, мама, уже съедаешь суп и наливаешь ему пового, в свою же тарелку. Вот папа возвращается в комнату и говорит мне: «Дениска, обедать! Ступай руки мыть!»

Я иду. Ты, ма, в это время ешь из мелкой тарелки котлеты. А папа ест суп. А я мою руки. И когда я их вымою, я иду к вам, а у вас папа уже поел супу, а ты съела котлеты! И когда я вошел, папа наливает супу в свою свободную глубокую тарелку, а ты кладешь папе котлеты в свою пустую мелкую. Я ем суп, папа котлеты, а ты спокойно пьешь компот из стакана! Когда папа съел второе, я как раз покончил с супом, тогда он наполняет свою мелкую тарелку котлетами, а ты в это время уже выпила компот и наливаешь папе в этот же стакан. Я отодвигаю пустую тарелку из-под супа, принимаюсь за второе, папа пьет компот, а ты, оказывается, уже пообедала, поэтому ты берешь глубокую тарелку и идешь на кухню ее мыть! А пока ты ее моешь, я уже проглотил котлеты и папа компот. Тут он живенько наливает в стакан компоту для меня и относит свободную мелкую тарелку к тебе, а я залпом выдуваю компот и сам несу на кухню стакан! Все очень просто! И вместо трех приборов тебе придется мыть только один. Ура?

— Ура,— сказала мама,— ура-то ура, только не гигиенично!

— Ерунда! — сказал я.— Ведь мы все свои. Я, например, нисколько не брезгую есть после папы. Я его люблю. Чего там. И тебя тоже люблю.

— Уж очень хитрый способ,— сказал папа,— и потом, что ни говори, а все-таки гораздо веселее есть всем вместе, а не трехступенчатым потоком.

— Ну,— сказал я,— зато маме легче! Посуды-то в три раза меньше уходит.

— Понимаешь,— задумчиво сказал папа,— мне кажется, я тоже придумал один способ. Правда, он не такой хитрый, но все-таки...

— Выкладывай,— сказал я.

— Ну-ка, ну-ка,— сказала мама.

Папа поднялся, и засучил рукава, и собрал со стола всю посуду.

— Иди за мной,— сказал он,— я сейчас покажу тебе свой нехитрый способ. Он состоит в том, что теперь мы с тобой будем сами мыть всю посуду!

И он пошел. А я побежал за ним. И мы вымыли всю посуду. Правда, только два прибора. Потому что третий я разбил. Это получилось у меня случайно, я все время думал, какой простой способ придумал папа. И как это я сам не догадался?

СМЕРТЬ ШПИОНА ГАДЮКИНА

Оказывается, пока я болел, на улице стало совсем тепло и до последних наших каникул осталось два или три дня. Я когда пришел в школу, все закричали.

— Дениска пришел, ура!

И я очень обрадовался, что пришел, и что все ребята сидят на своих местах, и Катя Точилина, и Мишка, и Валерка, и цветы в горшках, и доска такая же блестящая, и Раиса Ивановна веселая, и все, как всегда. И мы с ребятами ходили и смеялись на переменке, а потом Мишка вдруг сделал важный вид и сказал:

— А у нас будет весенний концерт!

Я сказал:

— Ну да?

Мишка сказал:

— Верно! Мы будем выступать на сцене. И ребята из четвертого класса нам покажут постановку. Они сами сочинили. Интересная!..

Я сказал:

— А ты, Мишка, будешь выступать?

Он сказал:

— Подрастешь — узнаешь.

И я стал с нетерпением дожидаться концерта. Я дома все это сообщил маме, а потом сказал:

— Я тоже хочу выступать...

Мама улыбнулась и говорит:

— А что ты умеешь делать?

Я сказал:

— Как, мама? Разве ты не знаешь? Я умею громко петь. Ведь я хорошо пою? Ты не смотри, что у меня тройка по пению. Все равно я пою здорово.

Мама открыла шкаф и откуда-то из-за платьев сказала:

— Ты споешь в другой раз. Ведь ты болел... Ты просто будешь на этом концерте зрителем.— Она вышла из-за шкафа.— Это так приятно, быть зрителем. Сидишь, смотришь, как артисты выступают... Хорошо! А в другой раз ты будешь артистом, а те, кто уже выступали, будут зрителями. Ладно?

Я сказал:

— Ладно. Я тогда буду зрителем.

И на другой день я пошел на концерт. Мама не могла со мной пойти — она дежурила в институте,— а папа как раз уехал на какой-то завод на Урал, и я пошел на концерт один.

В нашем большом зале стояли стулья, и была сделана сцена, и на ней висел занавес. А внизу стоя сидел за роялем наш Борис Сергеевич. И мы все уселись, а по стенкам встали бабушки нашего класса. А я пока стал грызть яблоко.

Вдруг занавес открылся, и появилась наша октябрьская вожатая Люся. Она сказала громким голосом, как по радио:

— Начинаем наш весенний концерт! Сейчас ученик первого класса «В» Миша Слонов прочтет нам свои собственные стихи! Попросим!

Тут все захлопали, и на сцену вышел Мишка. Он довольно смело вышел, дошел до середины и остановился. Он постоял так немножко и заложил руки за спину. Опять постоял. Потом выставил вперед левую руку. Все ребята сидели тихо-тихо и смотрели на Мишку. А он вдруг убрал левую ногу и выставил вперед правую, потом опять сменил правую на левую. Потом он вдруг стал откашливаться:

— Кхм!.. Кхм!.. Кхм!..

Я сказал:

— Ты что, Мишка, поперхнулся?

Он посмотрел на меня, как на незнакомого. Потом поднял глаза в потолок и сказал:

— Стих.

Пройдут годы, наступит старость!
Морщины вскочут на лице!

Желаю творческих успехов!
Чтоб хорошо учились и дальше все!

И Мишка поклонился и полез со сцены. И все ему здорово хлопали, потому что, во-первых, стихи были очень хорошие, а во-вторых, подумать только, Мишка сам их сочинил. Просто молодец!

И тут опять вышла Люся и объявила:

— Выступает Валерий Тагилов, первый класс «В»!

Все опять захлопали еще сильнее, а Люся поставила стул на самой середке. И тут вышел наш Валерка со своим маленьким аккордеоном и сел на стул, а чемодан от аккордеона поставил себе под ноги, чтобы они не болтались в воздухе. Он сел и заиграл вальс «Амурские волны». И все слушали, и я тоже слушал и все время думал: «Как это Валерка так быстро перебирает пальцами?» И я стал тоже так быстро перебирать пальцами по воздуху, но не мог поспеть за Валеркой. А сбоку, у стены, стояла Валеркина бабушка, она помаленьку дирижировала, когда Валерка играл. И он хорошо играл, громко, мне очень понравилось. Но вдруг он в одном месте сбился. У него остановились пальцы. Валерка немножко покраснел, но опять зашевелил пальцами, как будто дал им разбежаться; но пальцы добежали до какого-то места и опять остановились, ну просто как будто споткнулись. Валерка стал совсем красный и снова стал разбегаться, но теперь его пальцы бежали как-то боязливо, как будто знали, что они все равно опять споткнутся, и я уже готов был лопнуть от злости, но в это время на том самом месте, где Валерка два раза спотыкался, его бабушка вдруг вытянула шею, вся подалась вперед и запела:

...Серебрятся волны,
Серебрятся волны...

И Валерка сразу подхватил, и пальцы у него как будто перескочили через какую-то неудобную ступеньку и побежали дальше, дальше, быстро и ловко до самого конца. Вот уже ему хлопали так хлопали! А его бабушка даже кричала «бис»!

После этого на сцену выскочили шесть девочек из первого «А» и шесть мальчиков из первого «Б». У девочек в волосах были разноцветные ленты, а у мальчиков ничего не было. Они стали танцевать украинский гопак и топали ногами так, что пыль на сцене поднялась столбом и я два раза чихнул. Борис Сергеевич играл ничего себе, хотя мож-

но было бы играть погромче. Потом он сильно ударил по клавишам и кончил играть.

А мальчишки и девчонки еще топали по сцене сами, без музыки, кто как, и это было очень весело и красиво, и я уже собрался тоже слазить с ними на сцену немного потопать, но они вдруг разбежались, и вышла Люся и сказала:

— Перерыв пятнадцать минут. После перерыва учащиеся четвертого класса покажут пьесу, которую они сочинили всем коллективом, под названием «Собаке собачья и смерть».

И все задвигали стульями и пошли кто куда, а я вытащил из кармана свое грызеное яблоко и начал его догрызать.

А наша октябрятская вожатая Люся стояла тут же рядом. Вдруг к ней подбежала довольно высокая рыженькая девочка и сказала:

— Люся, можешь себе представить — Егоров не явился! Люся всплеснула руками:

— Не может быть! Что же делать? Кто же будет звонить и стрелять?

Девочка сказала:

— Нужно немедленно найти какого-нибудь сообразительного паренька, мы его научим, что делать!

Тогда Люся стала глядеть по сторонам и заметила, что я стою и грызу яблоко. Она сразу обрадовалась.

— Вот,— сказала она,— Дениска! Чего же лучше! Он нам поможет! Дениска, иди сюда!

Я подошел к ним поближе. Рыжая девочка посмотрела на меня и сказала:

— А он вправду сообразительный?

Люся говорит:

— По-моему, да!

А рыжая девочка говорит:

— А так, с первого взгляда, не скажешь!

Я сказал:

— Можешь успокоиться! Я сообразительный!

Тут они с Люсей засмеялись, и рыжая девочка потащила меня за сцену.

Там стоял мальчик из четвертого класса, он был в черном костюме, и у него были засыпаны мелом волосы, как будто он седой; он держал в руках пистолет, а рядом с ним стоял другой мальчик, тоже из четвертого класса. Этот мальчик был приклеен к бороде, на носу у него сидели

синие очки, и он был в клеенчатом плаще, с поставленным воротником. Тут же были и еще мальчики и девочки, кто с портфелем в руках, кто с чем, а одна девочка в косынке, халатике и с венником.

Я как увидел у мальчика в черном костюме пистолет, так сразу спросил его:

— Это настоящий? Вальтер или браунинг?

Но рыжая девочка перебила меня.

— Слушай, Дениска!— сказала она.— Ты будешь нам помогать. Встань тут сбоку и смотри на сцену. Когда вот этот мальчик скажет: «Этого вы от меня не добьетесь, гражданин Гадюкин!»— ты сразу позвони в этот звонок. Понял?

И она протянула мне велосипедный звонок. Я взял его.

Девочка сказала:

— Ты позвонишь, как будто это телефон, а этот мальчик снимет трубку, поговорит по телефону и уйдет со сцены. А ты стой и молчи. Понял?

Я сказал:

— Понял, понял... Чего тут не понять? А пистолет у него настоящий? Парабеллум или какой?

— погоди ты со своим пистолетом... Именно, что он не настоящий! Слушай: стрелять будешь ты здесь, за сценой. Когда вот этот, с бородой, останется один, он схватит со стола папку и кинется к окну, а этот мальчик, в черном костюме, в него прицелится, тогда ты возьми эту досочку и что есть силы стукни по стулу. Вот так, только гораздо сильнее!

И рыженькая девочка бахнула по стулу доской. Получилось здорово, как настоящий выстрел. Мне понравилось.

— Здорово!— сказал я.— А потом?

— Это все,— сказала девочка.— Если понял, повтори!

Я все повторил. Слово в слово.

Она сказала:

— Смотри же, не подведи!

Я сказал:

— Можешь успокоиться. Я не подведу.

И тут раздался наш школьный звонок, как на уроки.

Я положил велосипедный звонок на отопление, прислонил досочку к стулу, а сам стал смотреть в щелочку занавеса. Я увидел, как пришла Раиса Ивановна и Люся, и как садились ребята, и как бабушки опять встали у стенок, а сзади чей-то свободный папа взгромоздился на табуретку и начал наводить на сцену фотоаппарат. Было

очень интересно отсюда смотреть туда, гораздо интересней, чем оттуда сюда. Постепенно все стали затихать, и девочка, которая меня привела, побежала на другую сторону сцены и потянула за веревку. И занавес открылся, и эта девочка спрыгнула в зал. А на сцене стоял стол, и за ним сидел мальчик в черном костюме, и я знал, что в кармане у него пистолет. А напротив этого мальчика ходил мальчик с бородой. Он сначала рассказал, что долго жил за границей, а теперь вот приехал опять, и потом стал пудным голосом приставать и просить, чтобы мальчик в черном костюме показал ему план аэродрома.

Но тот сказал:

— Этого вы от меня не добьетесь, гражданин Гадюкин.

Тут я сразу вспомнил про звонок и протянул руку к отоплению. Но звонка там не было. Я подумал, что он упал на пол, и наклонился посмотреть. Но его не было и на полу. Я даже весь обомлел. Потом я взглянул на сцену. Там было тихо-тихо. Но потом мальчик в черном костюме подумал и снова сказал:

— Да-да! Этого вы от меня не добьетесь, гражданин Гадюкин!

Я просто не знал, что делать. Где звонок? Он только что был здесь! Не мог же он сам ускакать, как лягушка? Может быть, он скатился за отопление? Я присел на корточки и стал шарить по пыли за отоплением. Звонка не было! Нету!.. Люди добрые! Что же делать?!

А на сцене бородатый мальчик стал ломать себе пальцы и кричать.

— Я вас пятый раз умоляю! Все-таки покажите мне план аэродрома!

А мальчик в черном костюме повернулся ко мне лицом и заорал страшным голосом:

— Этого вы от меня не добьетесь, гражданин Гадюкин!

И погрозил мне кулаком. И бородатый тоже погрозил мне кулаком. Оба они мне грозили!

Я подумал, что они меня убьют. Но ведь не было звонка! Звонка-то не было! Он же потерялся!

Тогда мальчик в черном костюме схватился за волосы и сказал, глядя на меня с умоляющим выражением лица:

— Сейчас, наверно, позвонит телефон! Вот увидите, сейчас позвонит телефон! Сейчас позвонит!..

И тут меня осенило. Я высунул голову на сцену и быстро сказал:

— Динь-динь-динь!

И все в зале страшно рассмеялись. Но мальчик в черном костюме очень обрадовался и сразу схватился за трубку. Он весело сказал:

— Слушаю вас!— И вытер пот со лба.

А дальше все пошло как по маслу. Мальчик в черном встал и сказал бородатому:

— Меня вызывают. Я приеду через несколько минут.

И ушел со сцены. И встал на другой стороне. И тут мальчишка с бородой пошел на цыпочках к его столу и стал там рыться и все время оглядывался. Потом он злобно рассмеялся, схватил какую-то папку и побежал к задней стене, на которой было наклеено картонное окно. Тут выбежал другой мальчик и стал в него целиться из пистолета. Я сразу схватил доску да как трахну по стулу изо всех сил. А на стуле сидела какая-то неизвестная кошка. Она закричала диким голосом, потому что я попал ей по хвосту. Выстрела не получилось, зато кошка поскакала на сцену. А мальчик в черном костюме бросился на бородатого и стал душить. Кошка носилась между ними. Пока мальчишки боролись, у бородатого отвалилась борода. Кошка подумала, что это мышь, схватила ее и, слава богу, убежала. А мальчик, как только увидел, что он остался без бороды, так сразу лег на пол — как будто умер. Зрители смеялись как сумасшедшие. Тут на сцену прибежали остальные ребята из четвертого класса, кто с портфелем, кто с веником, они все стали спрашивать:

— Кто стрелял? Что за выстрелы?

А никто не стрелял. Просто кошка подвернулась и всему помешала.

Но мальчик в черном костюме сказал:

— Это я убил шпиона Гадюкина!

И тут рыженькая девочка закрыла занавес. И все, кто был в зале, хлопали так сильно, что у меня заболела голова. Я быстренько спустился в раздевалку, оделся и побежал домой.

А когда я бежал, мне все время что-то мешало. Я остановился, полез в карман и вынул оттуда... велосипедный звонок!

ГДЕ ЭТО ВИДАНО, ГДЕ ЭТО СЛЫХАНО...

На перемене подбежала ко мне наша октябрятская вожатая Люся и говорит:

— Дениска, а ты сможешь выступить в концерте? Мы

решили организовать двух малышей, чтобы они были сатирики. Хочешь?

Я говорю:

— Я все хочу! Только ты объясни: что такое сатирики?

Люся говорит:

— Видишь ли, у нас есть разные неполадки... Ну, например, двоечники или лентяи, их надо прохватить. Понял? Надо про них выступить, чтобы все смеялись, это на них подействует отрезвляюще.

Я говорю:

— Они не пьяные, они просто лентяи.

— Это так говорится: «отрезвляюще», — засмеялась Люся. — А на самом деле просто эти ребята призадумаются, им станет неловко, и они исправятся. Понял? Ну, в общем, не тяни: хочешь — соглашайся, не хочешь — отказывайся!

Я сказал:

— Ладно уж, давай!

Тогда Люся спросила:

— А у тебя есть партнер?

— Нету.

Люся удивилась:

— Как же ты без товарища живешь?

— Товарищ у меня есть. Мишка. А партнера нету.

Люся снова улыбнулась:

— Это почти одно и то же. А он музыкальный, Мишка твой?

Я говорю:

— Нет, обыкновенный.

— Петь умеет?

— Очень тихо. Но я научу его петь погромче, не беспокойся.

Тут Люся обрадовалась:

— После уроков притащи его в малый зал, там будет репетиция!

И я со всех ног пустился искать Мишку. Он стоял в буфете и ел сардельку.

Я сказал:

— Мишка, хочешь быть сатириком?

А он сказал:

— погоди, дай доесть.

Я стоял и смотрел, как он ест. Сам маленький, а сарделька толще его шеи. Он держал эту сардельку руками и ел прямо целой, не разрезая, и шкурка трещала и лопа-

лась, когда он ее кусал, и оттуда брызгал горячий пахучий сок. Я не выдержал и сказал тете Кате:

— Дайте мне, пожалуйста, тоже сардельку, поскорее!

И тетя Катя сразу протянула мне мисочку. И я очень торопился, чтобы Мишка без меня не успел съесть свою сардельку, мне одному не было бы так вкусно. И вот я тоже взял свою сардельку руками и тоже, не чистя, стал грызть ее, и из нее брызгал горячий пахучий сок. И мы с Мишкой так грызли на пару, и обжигались, и смотрели друг на дружку, и улыбались.

А потом я ему рассказал, что мы будем сатирики, и он согласился, и мы еле досидели до конца уроков, а потом побежали в малый зал на речетицию.

Там уже сидела наша октябрятская вожатая Люся, и с ней был один парнишка, приблизительно из четвертого, очень некрасивый, с маленькими ушками и большущими глазами.

Люся сказал:

— Вот и они! Познакомьтесь, это наш школьный поэт Андрей Шестаков.

Мы сказали:

— Здравствуй!

И отвернулись, чтобы он не задавался.

А поэт сказал Люсе:

— Это что, исполнители, что ли?

— Да.

Он сказал:

— Неужели ничего не было покрупней?

Люся сказала:

— Как раз то, что требуется!

Но тут пришел наш учитель пения Борис Сергеевич. Он сразу подошел к роялю:

— Ну те-с, начинаем! Где стихи?

Андрюшка вынул из кармана какой-то листок и сказал:

— Вот. Я взял размер и припев у Маршака, из сказки об ослике, дедушке и внуке, — «Где это видано, где это слыхано...».

Борис Сергеевич кивнул головой:

— Читай вслух!

Андрюшка стал читать:

Папа у Васи силен в математико,
Учится папа за Васю весь год.
Где это видано, где это слыхано,—
Папа решает, а Вася сдает?!

Мы с Мишкой так и прыснули. Конечно, ребята довольно часто просят родителей решить за них задачу, а потом показывают учительнице, как будто это они такие герои. А у доски ни бум-бум — двойка! Дело известное. Ай да Андрюшка, здорово прохватил!

А Андрюшка читает дальше, так тихо и серьезно:

Мелом расчерчен асфальт на квадратики.
Манечка с Танечкой прыгают тут.
Где это видано, где это слыхано,—
В «классы» играют, а в класс не идут?!

Опять здорово. Нам очень понравилось! Этот Андрюшка — просто настоящий молодец, вроде Пушкина!

Борис Сергеевич слушал и сказал:

— Ничего, неплохо! А музыка будет самая простая, вот что-нибудь в этом роде.— И он взял Андрюшкины стихи и, тихонько наигрывая, пропел их все подряд.

Получилось очень ловко, мы даже захлопали в ладоши.

А Борис Сергеевич сказал:

— Нуте-с, кто же наши исполнители?

А Люся показала на нас с Мишкой:

— Вот!

— Ну что ж,— сказал Борис Сергеевич.— У Миши довольно хороший слух... Правда, Дениска поет не очень-то верно.

Я сказал:

— Зато громко.

И мы начали повторять эти стихи под музыку и повторили их, наверно, раз пятьдесят или тысячу, и я очень громко орал, и все меня успокаивали и делали замечания:

— Ты не волнуйся! Ты тише! Спокойней! Не надо так громко!..

Особенно горячился Андрюшка. Он меня совсем затормошил. Но я пел только громко, я не хотел петь потише, потому что настоящее пение — это именно когда громко!

...И вот однажды, когда я пришел в школу, я увидел в раздевалке объявление:

ВНИМАНИЕ!

Сегодня на большой перемене в малом зале состоится выступление летучего патруля

«Пионерского Сатирикона»!

Исполняет дуэт малышей!

На злобу дня!

Приходите все!

И во мне сразу что-то екнуло. Я побежал в класс. Там сидел Мишка и смотрел в окно. Я сказал:

— Ну, сегодня выступаем!

А Мишка вдруг промямлил:

— Неохота мне выступать...

Я прямо оторопел. Как — неохота? Вот так раз! Ведь мы же репетировали? А как же Люся и Борис Сергеевич? Андрюшка? А все ребята, ведь они читали афишу и прибегут, как один? Я сказал:

— Ты что, с ума сошел, что ли? Людей подводить?

А Мишка так жалобно:

— У меня, кажется, живот болит.

Я говорю:

— Это со страху. У меня тоже болит, но я ведь не отказываюсь!

Но Мишка все равно был какой-то задумчивый. На большой перемене все ребята кинулись в малый зал, а мы с Мишкой еле плелись позади, потому что у меня тоже совершенно пропало настроение выступать. Но в это время нам навстречу прибежала Люся, она крепко схватила нас за руки и поволокла за собой, но у меня ноги были мягкие, как у куклы, и заплетались. Это я, наверно, от Мишки заразился.

В зале было огорожено место около рояля, и вокруг столпились ребята из всех классов, и няни, и учительницы.

Мы с Мишкой встали около рояля.

Борис Сергеевич был уже на месте, и Люся объявила дикторским голосом:

— Начинаем выступление «Пионерского Сатирикона» на злободневные темы. Текст Андрея Шестакова, исполняют всемирно известные сатирики Миша и Денис! Попросим!

И мы с Мишкой вышли немножко вперед. Миша был белый, как стена. А я ничего, только во рту было сухо и шершаво, как будто там лежал наждак.

Борис Сергеевич заиграл. Начинать нужно было Мишке, потому что он пел первые две строчки, а я должен был петь вторые две строчки. Вот Борис Сергеевич заиграл, а Мишка выкинул в сторону левую руку, как его научила Люся, и хотел было запеть, но опоздал, и, пока он собирался, наступила уже моя очередь, так выходило по музыке. Но я не стал петь, раз Мишка опоздал. С какой стати!

Мишка тогда опустил руку на место. А Борис Сергеевич громко и раздельно начал снова.

Он ударил, как и следовало, по клавишам три раза, а на четвертый Мишка опять откинул левую руку и наконец запел:

Папа у Васи силен в математике,
Учится папа за Васю весь год.

Я сразу подхватил и прокричал:

Где это видано, где это слыхано,—
Папа решает, а Вася сдает?!

Все, кто был в зале, засмеялись, и у меня от этого стало легче на душе. А Борис Сергеевич поехал дальше. Он снова три раза ударил по клавишам, а на четвертый Мишка аккуратно выкинул левую руку в сторону и ни с того ни с сего запел сначала:

Папа у Васи силен в математике.
Учится папа за Васю весь год.

Я сразу понял, что он сбился! Но раз такое дело, я решил допеть до конца, а там видно будет. Взял и допел.

Где это видано, где это слыхано,—
Папа решает, а Вася сдает?!

Слава богу, в зале было тихо — все, видно, тоже поняли, что Мишка сбился, и подумали: «Ну что ж, бывает, пусть дальше поет».

А музыка в это время бежала все дальше и дальше. Но Мишка был какой-то зеленоватый.

И когда музыка дошла до места, он снова вымахнул левую руку и, как пластинка, которую «заело», завел в третий раз:

Папа у Васи силен в математике,
Учится папа за Васю весь год.

Мне ужасно захотелось стукнуть его по затылку чем-нибудь тяжелым, и я заорал со страшной злостью:

Где это видано, где это слыхано,—
Папа решает, а Вася сдает?!!

— Мишка, ты, видно, совсем рехнулся! Ты что в третий раз одно и то же затыгиваешь? Давай про девочонок!

А Мишка так нахально:

— Без тебя знаю!— И вежливо говорит Борису Сергеевичу: — Пожалуйста, Борис Сергеевич, дальше!

Борис Сергеевич заиграл, а Мишка вдруг осмелел, опять выставил свою левую руку и на четвертом ударе заголосил как ни в чем не бывало:

Папа у Васи силен в математике,
Учится папа за Васю весь год.

Тут все в зале прямо завизжали от смеха, и я увидел в толпе, какое несчастное лицо у Андриюшки, и еще увидел, что Люся, вся красная и растрепанная, пробивается к нам сквозь толпу. А Мишка стоит с открытым ртом, как будто сам на себя удивляется. Ну, а я, пока суд да дело, докрикиваю:

Где это видано, где это слыхано,—
Папа решает, а Вася сдает?!!

Тут уж началось что-то ужасное. Все хохотали как зарезанные, а Мишка из зеленого стал фиолетовым. Наша Люся схватила его за руку и утащила к себе. Она кричала:

— Дениска, пой один! Не подводи!.. Музыка! И!..

А я стоял у рояля и решил не подвести. Я почувствовал, что мне стало все равно, и, когда дошла музыка, я почему-то вдруг тоже выкинул в сторону левую руку и совершенно неожиданно завопил:

Папа у Васи силен в математике,
Учится папа за Васю весь год.

Я даже плохо помню, что было дальше. Было похоже на землетрясение. И я думал, что вот сейчас провалюсь совсем под землю, а вокруг все просто падали от смеха — и няни, и учителя, все, все...

Я даже удивляюсь, что я не умер от этой проклятой песни. Я, наверно бы, умер, если бы в это время не зазвонил звонок...

Не буду я больше сатириком!

РОВНО 25 КИЛО

Ура! Нам с Мишкой дали пригласительный билет в клуб «Металлист», на детский праздник. Это тетя Дуся постаралась — она в этом клубе главная уборщица. Билет-то

она нам дала один, а написано на нем: «На два лица!» На мое, значит, лицо и на Мишкино. Мы с ним очень обрадовались, тем более это недалеко от нас, за углом. Мама сказала:

— Вы только там не балуйтесь.

И дала нам денег, каждому по пятнадцать копеек.

И мы пошли с Мишкой.

Там в раздевалке была страшная толча и очередь. Мы с Мишкой встали самые последние. Очередь чересчур медленно двигалась. Но вдруг наверху заиграла музыка, и мы с Мишкой заметались из стороны в сторону, чтобы поскорее снять пальто, и многие ребята тоже, как только услышали эту музыку, заметались, как подстреленные, и даже стали реветь, что они опаздывают на самое интересное.

Но тут откуда ни возьмись выскочила тетя Дуся.

Она закричала:

— Дениска с Мишкой! Вы чего там колготитесь-то? Сюда айда-те!

И мы побежали к ней, а у нее свой отдельный кабинет под лестницей, там щетки стоят и ведра. Тетя Дуся взяла наши вещи и сказала:

— Здесь и оденетесь, чертенята!

И мы понеслись с Мишкой по лестнице, через ступеньки, наверх. Ну, а там действительно было красиво! Ничего не скажешь! Все потолки были увешаны разноцветными бумажными лентами и фонариками, всюду горели красивые лампы из зеркальных осколков, играла музыка, и в толпе ходили наряженные артисты: один играл на трубе, другой — на барабане. Одна тетенька была одета как лошадь, и зайцы тоже были, и кривые зеркала, и Петрушка.

А в конце зала была еще одна дверь, и на ней было написано: «Комната аттракционов».

Я спросил:

— Это что такое?

А Мишка сказал:

— Это разные затеи.

И правда, там были разные затеи. Например, там висело яблоко на нитке, и надо было заложить руки за спину, и так, без рук, это яблоко грызть. Но оно вертится на нитке и никак не дается. Это очень трудно и даже обидно. Я два раза хватал это яблоко руками и кусал. Но мне не давали его сгрызть, а только смеялись и отнимали. Еще там была стрельба из лука, а на конце стрелы не накопчик, а резиновая нашлепка, она присасывается, и вот,

кто попадет в картонку, в центр, где нарисована обезьяна, тому приз — хлопушка с секретом.

Мишка стрелял первый, он долго метился, а когда выстрелил, то разбил одну далекую лампу, а в обезьяну не попал...

Я говорю:

— Эх ты, стрелок!

— Это я еще не пристрелялся! Если бы дали пять стрел, я бы пристрелялся. А то дали одну — где тут пасть!

Я повторяю:

— Давай, давай! Гляди-ка, я сейчас же попаду в обезьянку!

И дяденька, который распорядился этим луком, дал мне стрелу и говорит:

— Ну, стреляй, снайпер!

И сам пошел поправить обезьянку, потому что она как-то покосилась. А я уже прицелился, и все ждал, когда он поправит, а лук был очень тугой, и я все время приговаривал: «Сейчас я убью эту обезьянку», — и вдруг стрела сорвалась, и хлоп! Вонзилась дяденьке в лопатку. И там, на лопатке, затрепетала.

Все вокруг захлопали и засмеялись, а дяденька обернулся как ужаленный и закричал:

— Что тут смешного? Не понимаю! Уходи, озорник, нет тебе больше никакого лука!

Я сказал:

— Я не нарочно! — И ушел от этого места.

Просто удивительно, как нам не повезло, и я был очень сердитый, а Мишка, конечно, тоже.

И вдруг видим, стоят весы. И к ним небольшая веселая очередь, которая быстро двигается, и все тут шутят и хочут. И около весов клоун.

Я спрашиваю:

— Это что за весы?

А мне говорят:

— Становись, взвешивайся. Если в тебе окажется двадцать пять кило весу, тогда твое счастье. Получишь премию: годовую подписку на журнал «Мурзилка».

Я говорю:

— Мишка, давай попробуем?

Гляжу, а Мишки нет. И куда он подевался, неизвестно. Я решил один попробовать. А вдруг я вешу ровно 25 кило? Вот будет удача!..

А очередь все двигается, и клоун в шапке ловко так щелкает рычажками и все шутит да шутит:

— У вас кило лишних — меньше кушайте мучного! — Щелк-щелк! — А вы, уважаемый товарищ, еще мало каши ели, и всего-то вы тянете девятнадцать килишек! Заходите через годик! — Щелк-щелк!

И так далее, и все смеются, и отходят, очередь движется, и никто не весит ровно двадцать пять кило, и вот доходит дело до меня.

Я влез на весы — рычажки щелк-щелк, и клоун говорит:

— Ого! Знаешь игру в горячо-холодно?

Я говорю:

— Кто ж не знает.

Он говорит:

— У тебя довольно горячо получилось. Твой вес двадцать четыре кило пятьсот грамм. Не хватает ровно полкило. А жаль. Будь здоров!

Подумаешь, всего только полкило не хватает!

У меня совсем настроение испортилось. Вот какой день пезезучий!

И тут Мишка появляется.

Я говорю:

— Где это ваша милость пропадает?

Мишка говорит:

— Ситро пил.

Я говорю:

— Хорош, нечего сказать. Я тут стараюсь, «Мурзилку» выигрываю, а он ситро пьет.

И я ему все рассказал. Мишка говорит:

— А ну-ка я!

И клоун щелкнул рычажком и захохотал:

— Небольшой перебор-с! Двадцать пять кило пятьсот грамм. Вам надо похудеть. Следующий!

Мишка слез и говорит:

— Эх, зря я ситро пил...

Я говорю:

— А при чем здесь ситро?

А Мишка:

— Я целую бутылку выпил! Понимаешь?

Я говорю:

— Ну и что?

Мишка даже разозлился:

— Да разве ты не знаешь, что в бутылке помещается ровно пол-литра воды?

Я говорю:

— Знаю. Ну и что?

Тут Мишка прямо зашипел:

— А пол-литра воды — это и есть полкило. Пятьсот грам! Если бы я не пил, я бы весил ровно двадцать пять кило!

Я говорю:

— Ну да?!

Мишка говорит:

— Вот то-то и оно-то!

И тут меня словно осенило:

— Мишка,— сказал я,— а Мишка! «Мурзилка» наш!

Мишка говорит:

— А каким образом?

Я говорю:

— А таким. Пришло мое время сидро пить. У меня как раз пятьсот грам не хватает!

Мишка даже подскочил:

— Все ясно, бежим в буфет!

И мы быстро купили бутылку воды, продавщица ее откупорила, а Мишка спросил:

— Тетя, а в бутылке всегда ровно пол-литра, недолива не бывает?

Продавщица покраснела.

— Ты еще маленький такие глупости мне говорить!

Я взял бутылку, сел за столик и начал пить. Мишка стоял рядом и смотрел. Вода была очень холодная. Но я выпил полный стакан просто залпом. Мишка сейчас же палил мне второй, но там еще осталось на дне довольно много, и мне уже не хотелось больше пить.

Мишка сказал:

— Давай, не задерживай.

А я сказал:

— Уж очень холодная. Как бы ангину не схватить.

Мишка говорит:

— Ты не будь мнительным. Говори, струсил, да?

Я говорю:

— Это ты, наверно, струсил.

И стал пить второй стакан.

Он довольно трудно в меня лился. Я как только три четверти этого второго стакана выпил, так понял, что я уже полный. До краев.

Я говорю:

— Стоп, Мишка! Больше не войдет!

Он говорит:

— Войдет, войдет. Это только так кажется! Пей!

Я попробовал. Не лезет.

Мишка говорит:

— Ты чего расселся, как барон? Ты встань, так влезет!

Я встал. И правда, допил стакан каким-то чудом.

А Мишка сейчас же налил мне все, что оставалось в бутылке. Получилось больше, чем полстакана.

Я говорю:

— Я сейчас лопну.

Мишка говорит:

— А как же я не лопнул? Я ведь тоже думал, что лопну. Давай, поднажми.

Я говорю:

— Мишка. Если. Я лопну. Ты. Будешь. Отвечать.

Он говорит:

— Хорошо. Пей давай.

И я опять стал пить. И все выпил. Просто чудеса как-то! Только я говорить не мог. Потому что вода перелилась уже выше горла и булькала во рту. И понемножку выливалась из носа.

И я побежал к весам. Клоун не узнал меня. Он сделал «щелк-щелк» и вдруг закричал на весь зал:

— Урря! Есть! Точно!!! Тютелька в тютельку. Годовая подписка на «Мурзилку» выиграна! Она досталась мальчику, который весит ровно двадцать пять килограммов. Вот квитанция, сейчас я ее заполню. Похлопаем!

Он взял мою левую руку и поднял ее вверх, и все захлопали, и клоун спел туш! Потом он взял «вечное» перо и сказал:

— Ну! Как тебя зовут? Имя и фамилия? Отвечай!

Но я молчал. Я был наполненный и не мог говорить.

Тут Мишка закричал:

— Его зовут Денис! Фамилия Кораблев! Пишите, я его знаю!

Клоун протянул мне заполненную квитанцию и сказал:

— Скажи хоть спасибо!

Я мотнул головой, а Мишка опять закричал:

— Это он говорит «Спасибо». Я его знаю!

А клоун говорит:

— Ну и мальчик! Выиграл «Мурзилку», а сам молчит, как будто воды в рот набрал!

А Мишка говорит:

— Не обращайтесь внимания, он застенчивый, я его знаю!

И он схватил меня за руку и поволок вниз.

И я на улице немножко отдышался. Я сказал:

— Мишка, мне как-то не хочется нести эту подписку домой, раз во мне только двадцать четыре с половиной кило.

А Мишка говорит:

— Тогда отдай мне. Во мне-то аккурат двадцать пять. Если б я не пил сытро, я бы сразу ее получил. Давай сюда.

Я говорю:

— Что же я, по-твоему, напрасно страдал? Нет, уж, пусть она будет наша общая — напополам!

Тогда Мишка сказал:

— Правильно!

РАБОЧИЕ ДРОБЯТ КАМЕНЬ

С самого начала этого лета мы, все трое, Мишка, Костик и я, очень пристрастились к водной станции «Динамо» и стали ходить туда почти что каждый день. Мы раньше не умели плавать, а потом постепенно научились, кто где, кто в деревце, кто в пионерских лагерях, а я, например, два месяца посещал наш плавательный бассейн «Москва». И когда мы все научились плавать, мы очень быстро поняли, что нигде не получишь такого удовольствия от купания, как на водной станции. Даю слово.

Ох, хорошо лежать ясным утречком на водной станции на сыроватых и теплых ее деревянных дорожках, вдыхать всеми поздрами свежий и тревожный запах реки и слышать, как на высоких мачтах и тонких рейках трещат под ветром разноцветные шелковые флажки и вода хлюпает и полощется где-то прямо под тобой в дощатых щелях; хорошо так лежать и молчать, и загорать, раскинув руки, и смотреть из-под локтя, как недалеко от станции, чуть-чуть повыше по течению, рабочие-каменщики чинят набережную и бьют по розовому камню молотками, и звук долетает до тебя немножко позже удара, такой тонкий и нежный, как будто кто-то играет стеклянными молоточками на серебряном ксилофоне. И особенно хорошо, когда накалишься как следует, бухнуться в воду, и наплаваться вдосталь, и напрыгаться с метровой гумбочки, и наныряться досыта, до отвала. А потом, когда устанешь, хорошо пойти к своим ребятам, пойти

по горячим досточкам, втянув живот до позвоночника, и выпятив грудь колесом, и распирая ребра, и папружив руки, а ноги ставя непременно носками внутрь, потому что это красиво, и на водной станции иначе не пойдешь, здесь так ходят все. Здесь тебе не самодельный пляжик с грязноватым песком и бумажкам, здесь тебе не какой-нибудь травянистый бережок, это там можно чапать как угодно, а здесь водная станция, здесь порядок, чистота, ловкость, спорт, шик-блеск, и поэтому все здесь ходят по-чемпионски, на «отлично», фасонно ходят, иногда даже ходят гораздо лучше, чем плавают.

И вот поэтому мы все, Мишка, Костик и я, мы дня не пропускали, и все лето ходили сюда купаться, и загорели, как черти, и здорово поднаучились плавать, и у нас появились мускулы, бицепсы и трицепсы, и мы на нашей станции облазили все углы и знали, где медпункт, где игры и все такое, и в конце концов все здесь стало для нас вроде бы как родное и обыкновенное. Мы привыкли.

И однажды мы лежали, как всегда, на досточках и загорали, и Костик вдруг сказал ни с того ни с сего:

— Дениска! А ты мог бы прыгнуть с самой верхней вышки в воду?

Я посмотрел на вышку и увидел, что она не слишком-то уж высокая, ничего страшного, не выше второго этажа, ничего особенного.

Поэтому я сейчас же ответил Костику:

— Конечно, смог бы! Ерунда какая.

Мишка тотчас же сказал:

— А вот слабо!

Я сказал:

— Дурачок ты, Мишка, вот ты кто!

Костик сказал:

— Же десять — же метров!

— Ну и что? — сказал я.

— Слабо! — отрезал Костик.

И Мишка, конечно, его поддержал:

— Слабо, факт, слабо! — И добавил: — Слабо-би-бо!!!

Я сказал:

— Дурачки вы оба! Вот вы кто!

И тут я встал, растопырил ребра, выкатил грудь, напружинил руки и пошел к вышке. А когда шел, все время ставил носки внутрь.

Сзади Костик крикнул:

— Сла-би-бу-бе-бо!

Но я не стал ему отвечать. Я уже всходил на вышку.

Все это время, что мы ходили на водную станцию, я каждый день видел, как с этой вышки прыгали в воду взрослые дядьки. Я видел, как они красиво выгибали спину, когда прыгали ласточкой, видел, как они перекувыркивались через голову по полтора раза, или переворачивались через бок, или складывались в воздухе пополам, входя в воду аккуратно и точно, почти совсем не подымая брызг, а когда выпыривали, то выходили на доски, напряжив руки и выпятив грудь...

И это было очень красиво и легко, и я всю жизнь был уверен, что прыгаю не хуже этих дядек, но сейчас, когда лез, я решил для первого раза никаких фигур в воздухе не выстраивать, а просто прыгнуть прямо, вытянувшись в струнку, «солдатиком», это легче легкого! Я так просто, без затей, прыгну только для пачала, а уж потом в следующие разы я, специально для Мишки, такне буду выписывать кренделя, что Мишка только рот разинет. Пусть они с Костиком лучше молчат в тряпочку и кричат мне вдогонку свое дурацкое «сла-би-бо!!!».

И пока я так думал, у меня было веселое настроение, и я быстро бежал по маленьким лесенкам вверх и вверх и даже не заметил, с какой быстротой я оказался на самой высшей площадке, на высоте десяти метров над уровнем станции.

И тут я вдруг увидел, что эта площадка очень маленькая, а перед нею, и по бокам, и далеко вокруг стоит какой-то раздвинутый, огромный и прекрасный город, он стоит весь в каком-то легком тумане, а тут, на площадке, шумит ветер, шумит не шутя, как буря, того и гляди сдует тебя с этой вышки. И совсем неслышно, как рабочие дробят камень, ветер заглушает их стеклянные молотки. И когда я глянул вниз, я увидел наш водный бассейн, он был голубой, но такой маленький, прямо величиной с папиросную коробку, и я подумал, что если прыгну, вряд ли попаду в него, тут очень просто промахнуться, а тем более ветер не меньше шести баллов, он того и гляди снесет меня куда-нибудь в сторону, в реку, или я бухнусь прямо в буфет кому-нибудь на голову, вот будет история! Или я, чего доброго, угожу прямо на кухню, в котел с борщом! Тоже удовольствие. От этих мыслей у меня что-то зачесалось внутри коленок, и мне больше всего захотелось еще раз услышать, как рабочие чинят набережную и увидеть Костика и Мишку рядом с собой, все-таки они мои друзья...

И я потихоньку сделал несколько шагов назад, ухватился за перила и стал спускаться вниз, а когда спустился, настроение у меня опять было хорошее, и на сердце стало легко-легко, как будто гора с плеч свалилась. И я очень обрадовался, когда увидел Мишку с Костиком и побежал к ним, а когда подбежал, остановился как вкопанный!.. Эти дураки хохотали во все горло и показывали на меня пальцем! Они изображали, что сейчас лопнут от смеха. Они вопили:

— Он спрыгнул!

— Ха-ха-ха!

— Он сиганул!

— Хо-хо-хо!

— Ласточкой!

— Хе-хе-хе!

— Солдатиком!

— Хи-хи-хи!

— Храбрец!

— Молодец!

— Хвастец!

Я сел рядом с ними и сказал:

— Дурачки вы, и больше ничего! Неужели вы думаете, что я струсил?

Тут они прямо завизжали:

— Нет! Ха-ха-ха!

— Не думаем! Хо-хо-хо!

— Ты не струсил!

— Ты просто забоялся!

— Сейчас мы напишем про тебя в газету!

— Чтоб тебе медаль дали!

— За красивое спускание по лестнице!

Во мне прямо все бурлило от злости! Какие все-таки наглые типы, этот худющий Костыль и особенно Миха с его противным голосом! Они, видно, серьезно воображают, что я струсил! Какая глупость! Олухи царя небесного!

Но я не стал ругаться и оскорблять их, как они меня. Ведь я-то знал, что мне ничего не стоит спрыгнуть с этой жалкой вышки! Поэтому я сказал им спокойно и вежливо:

— Наплевать на вас!

И стремглав кинулся к вышке, и в пять секунд снова взбежал на самых верх! В это время солнце спряталось за тучу. Здесь было холодно и мрачно, ветер выл, и вышка немножко скрипела и покачивалась. Но я не стал задерживаться, я подошел к самому краю, сложил руки по швам,

важмурился, чуть-чуть согнул коленки перед тем, как прыгнуть, и... вдруг совершенно неожиданно я вспомнил про маму. И про папу тоже. И про бабушку. Я вспомнил, что сегодня утром, когда я убежал на «Дятла», я не попрощался с ними и что теперь, очень может быть, что я убьюсь насмерть, и я подумал, какое это будет для них несчастье. Просто горе будет. Ведь им совершенно некого будет в жизни приласкать. Я представил себе, как мама всегда будет смотреть на мою карточку и плакать, ведь я у нее единственный, и у папы тоже. И у них в душе будет вечный траур, и они не будут ходить в гости и в кино, разве это жизнь? И кто же будет о них заботиться, когда они состарятся. Да и мне тоже без них будет плохо, я ведь тоже их люблю! Хотя мне-то уже плохо не будет, меня в живых не будет, я буду уже мертвый, и не увижу больше неба, и не услышу, как рабочие нежно дробят камень на набережной!..

И все это из-за этих негодных Костыля и Мики?

Я ужасно возмутился и весь вскипел, что из-за таких дураков столько народу страдает, и я подумал, что гораздо лучше будет, если я пойду и насую им по шее, и чем скорее, тем лучше.

И я опять спустился вниз.

Костик, когда увидел меня, встал на четвереньки и уткнулся головой в пол. И так, на голове, он побежал по кругу, как какой-нибудь жук. А Мишка был совершенно синий и булькал, у него была смеховая истерика.

Возле них сидела небольшая толпишка, разные девушки и парни. Они тоже смеялись. Видно, Костик с Мишкой рассказали им про это дело. Они очень весело смеялись, знакомые эти люди, а мои друзья смеялись с ними заодно, они все вместе дружно надо мной смеялись...

И тут я почувствовал, что все, что было до сих пор, это была чепуха! Просто я до сих пор не понимал, в чем тут суть! А сейчас, кажется, понял. И я повернулся и пошел обратно на вышку. В третий раз! Они там сзади кукарекали мне вслед, блеяли и улюлюкали. Но я долез доверху и подошел к самому краю. Коленки у меня дрожали. Но я схватил их руками и сжал и сказал себе тихонько а когда говорил, слышал, как дрожит мой голос и клацают зубы.

Я бормотал:

— Ррохля!.. Вахля!.. Махля!!! Прыгай сейчас же! Ну! А то я разговаривать с тобой не буду! Руки тебе не подам!

Ну! Прыгай же! Пухля! Опухля! Ну! Прыгай сейчас же!
Тухля! Протухля! Вонюхля!

И когда я обозвал себя вонюхлей, я не выдержал обиды и шагнул вперед. Сердце и желудок у меня сразу подкатились к горлу. И я, когда летел, не успел ничего подумать, просто я знал, что я прыгнул. Я прыгнул! Я прыгнул! Прыгнул все-таки!!!

А когда я вынырнул, Мишка и Костик протянули мне руки и вытащили на доски. Мы легли рядом. Мишка и Костик молчали.

А я лежал и слушал, как рабочие бьют молотками по розовому камню. Звук долетал сюда слабо, нежно и робко, как будто кто-то играл стеклянным молоточком на серебряном ксилофоне.

КРАСНЫЙ ШАРИК В СИНЕМ НЕБЕ

Вдруг наша дверь распахнулась, и Аленка закричала из коридора:

— В большом магазине весенний базар!

Она ужасно громко кричала, и глаза у нее были круглые, как кнопки, и отчаянные. Я сначала подумал, что кто-нибудь зарезали. А она снова набрала воздуха и давай:

— Бежим, Дениска! Скорее! Там квас продают шипучий! Музыка играет, и разные куклы! Бежим!

Кричит, как будто случился пожар. И я от этого тоже как-то заволновался, и у меня стало щекотно под ложечкой, и я заторопился и выскочил из комнаты.

Мы взяли с Аленкой за руки и побежали как сумасшедшие в большой магазин. Там была целая толпа народу, и в самой середине стояли сделанные из чего-то блестящего мужчина и женщина, огромные, под потолок, и, хотя они были ненастоящие, они хлопали глазами и шевелили нижними губами, как будто говорят. Мужчина кричал:

— Весенний базарrrr! Весенний базарrrr!

А женщина:

— Добро пожаловать! Добррррр пожаловать!

Мы долго на них смотрели, а потом Аленка говорит:

— Как же они кричат? Ведь они ненастоящие!

— Просто непонятно,— сказал я.

Тогда Аленка сказала:

— А я знаю. Это не они кричат! Это у них в середине живые артисты сидят и кричат себе целый день. А сами за

веревочку дергают, и у кукол от этого шевелятся губы.

Я прямо расхохотался:

— Вот и видно, что ты еще маленькая. Станут тебе артисты в животе у кукол сидеть целый день... Представляешь? Целый день скрючившись — устанешь небось! А есть, пить надо? И еще разное, мало ли что... Эх ты, темнота! Это радио в них кричит.

Аленка сказала:

— Ну и не задавайся!

И мы пошли дальше. Всюду было очень много народу, все разодетые и веселые, а музыка играла, и один дяденька крутил лотерею и кричал:

Подходите сюда поскорее,
Здесь билеты вещевой лотереи!
Каждому выиграть недолго
Легковую автомашину «Волга»!
А некоторые сгоряча
Выиграют «Москвича»!

И мы возле него тоже посмеялись, как он бойко выкрикивает, и Аленка сказала:

— Все-таки когда живое кричит, то интересней, чем радио.

И мы долго бегали в толпе между взрослых и очень веселились, и какой-то дядька подхватил Аленку под мышки, а его товарищ нажал кнопку в стене, и оттуда вдруг забрызгал одеколон, и когда Аленку поставили на пол, она вся пахла леденцами, а дядька сказал:

— Ну что за красотулечка, сил моих нет!

Но Аленка от них убежала, а я — за ней, и мы наконец очутились возле кваса. У меня были завтрачные деньги, и мы поэтому с Аленкой выпили по две большие кружки, и у Аленки живот сразу стал, как футбольный мяч, а у меня все время шибало в нос и кололо в носу иголочками. И когда мы снова побежали, то я услышал, как квас во мне булькает. Мы захотели домой и выбежали на улицу. Там было еще веселей, и у самого входа стояла женщина и продавала воздушные шарки.

Аленка, как только увидела эту женщину, остановилась как вкопанная. Она сказала:

— Ой! Я хочу шарик!

А я сказал:

— Хорошо бы, да денег нету.

А Аленка:

— У меня есть одна денежка.

Я говорю:

— Покажи!

Она достала из кармана. Я сказал:

— Ого! Десять копеек! Тетенька, дайте ей шарик!

Продавщица улыбнулась:

— Вам какой? Красный, сипий, голубой?

Аленка взяла красный. И мы пошли. И вдруг Аленка говорит:

— Хочешь поносить?

И протянула мне ниточку. Я взял. И сразу как взял, так услышал, что шарик тоненько-тоненько потянул за ниточку! Ему, наверно, хотелось улететь. Тогда я немножко отпустил ниточку и опять услышал, как он настойчиво так потягивается из рук, как будто очень просится улететь. И мне вдруг стало его как-то жалко, что вот он может летать, а я его держу на привязи, и я взял и выпустил его. И шарик сначала даже не отлетел от меня, как будто не поверил, а потом почувствовал, что это вправду, и сразу рванулся и взлетел выше фонаря.

Аленка за голову схватилась:

— Ой, зачем, держи!..

И стала подпрыгивать, как будто могла допрыгнуть до шарика, но увидела, что не может, и заплакала:

— Зачем ты его упустил?..

Но я ей ничего не ответил. Я смотрел вверх на шарик. Он летел кверху плавно и спокойно, как будто этого и хотел всю жизнь.

И я стоял, задрал голову, и смотрел, и Аленка тоже, и многие взрослые остановились и тоже задирали головы — посмотреть, как летит шарик, а он все летел и уменьшался.

Вот он пролетел последний этаж большущего дома, и кто-то высунулся из окна и махал ему вслед, а он еще выше и немножко вбок, выше антенн и голубей. И стал совсем маленький... У меня что-то в ушах звенело, когда он летел, а он уже почти исчез. Он залетел за облачко, оно было пушистое и маленькое, как крольчонок, потом снова вынырнул, пропал и совсем скрылся из виду и теперь уже, наверно, был около Луны, а мы всё смотрели вверх, и в глазах у меня замелькали какие-то хвостатые точки и угоры. И шарика уже не было нигде. И тут Аленка вздохнула еле слышно, и все пошли по своим делам.

И мы тоже пошли и молчали, и всю дорогу я думал, как это красиво, когда весна на дворе, и все нарядные и весе-

лые, и машины туда-сюда, и милиционер в белых перчатках, а в чистое, синее небо улетает от нас красный шарик... И еще я думал, как жалко, что я не могу это все рассказать Аленке. Я не сумею словами, и, если бы сумел, все равно Аленке бы это было непонятно: она ведь маленькая. Вон она идет рядом со мной, и вся такая притихшая, и слезы еще не совсем просохли у нее на щеках. Ей небось жаль своего шарика.

И мы шли так с Аленкой до самого дома и молчали, а возле наших ворот, когда стали прощаться, Аленка сказала:

— Если бы у меня были деньги, я бы купила еще один шарик... чтоб ты его выпустил.

СРАЖЕНИЕ У ЧИСТОЙ РЕЧКИ

У всех мальчишек первого класса «В» были пистолеты. Мы так сговорились, чтобы всегда ходить с оружием. И у каждого из нас в кармане всегда лежал хорошенький пистолетик и к нему запас пистонных лепт. И нам это очень нравилось, но так было недолго. И все из-за кино...

Однажды Раиса Ивановна сказала:

— Завтра, ребята, воскресенье. И у нас с вами будет праздник. Завтра наш класс, и первый «А», и первый «Б», все три первых класса вместе, пойдут в кино «Художественный» смотреть кинокартину «Алые звезды». Это очень интересная картина о борьбе за наше правое дело... Приносите завтра с собой по десять копеек. Сбор возле школы, в 10 часов!

Я вечером все это рассказал маме, и мама положила мне в левый карман десять копеек на билет и в правый несколько монеток на воду с сиропом. И она отгладила мне чистый воротничок.

Я рано лег спать, чтобы поскорее наступило завтра, а когда проснулся, мама еще спала. Тогда я стал одеваться.

Мама открыла глаза и сказала:

— Спи, еще ночь!

А какая ночь — светло как днем!

Я сказал:

— Как бы не опоздать!

Но мама прошептала:

— Шесть часов. Не буди ты отца, спи, пожалуйста!

Я снова лег и лежал долго-долго, уже птички запели, и

дворники стали подметать, и за окном загудела машина. Уж теперь-то паверияка пужно было вставать. И я снова стал одеваться.

Мама зашевелилась и подпяла голову:

— Ну чего ты, беспокойная душа?

Я сказал:

— Опоздаем ведь! Который час?

— Пять минут седьмого, — сказала мама, — ты спи, не беспокойся, я тебя разбуджу, когда надо.

И верно, она потом меня разбудила, и я оделся, умылся, поел, пошел к школе. Мы с Мишкой стали в пару, и скоро все, с Райсой Ивановной впереди и с Еленой Степановой позади, пошли в кино.

Там наш класс занял лучшие места в первом ряду, потом в зале стало темнеть, и началась картина. И мы увидели, как в широкой степи, недалеко от леса, сидели красные солдаты, как они пели песни и танцевали под гармонию. Один солдат спал на солнышке, и недалеко от него паслись красивые кони, они щипали своими мягкими губами траву, ромашки и колокольчики. И веял легкий ветерок, и бежала чистая речка, а бородатый солдат у маленького костерка рассказывал сказку про Жар-птицу.

И в это время откуда ни возьмись появились белые офицеры, их было очень много, и они начали стрелять, и красные стали падать, и защищаться, но тех было гораздо больше...

И красный пулеметчик стал отстреливаться, но он увидел, что у него очень мало патронов, и заскрипел зубами, и заплакал.

Тут все наши ребята страшно зашумели, затопали и засвистели, кто в два пальца, а кто просто так. А у меня прямо защемило сердце, я не выдержал, выхватил свой пистолет и закричал что было сил:

— Первый класс «В»! Огонь!!!

И мы стали палить изо всех пистолетов сразу. Мы хотели во что бы то ни стало помочь красным. Я все время палил в одного толстого фашиста, он все бежал впереди весь в черных крестах и разных эполетах, я истратил на него, наверно, сто пистонов, но он даже не посмотрел в мою сторону.

Пальба кругом стояла невыносимая. Валька бил с локтя, Андрюшка короткими очередями, а Мишка, наверно, был снайпером, потому что после каждого выстрела он кричал:

— Готов!

Но белые все-таки не обращали на нас внимания, а все лезли вперед. Тогда я оглянулся и крикнул:

— На помощь! Выручай своих!

И все ребята из «А» и «Б» достали пугачи с пробками и давай бахать так, что потолки затряслись и запахло дымом, порохом и серой.

А в зале творилась страшная суета. Раиса Ивановна и Елена Степановна бегали по рядам и кричали:

— Перестаньте безобразничать! Прекратите!

А за ними бежали седенькие контролерши и все время спотыкались...

И тут Елена Степановна случайно взмахнула рукой и задела за локоть гражданку, которая сидела на приставном стуле. А у гражданки в руке было эскимо. Оно взлетело, как процеллер, и шлепнулось на лысину одного дяденьки. Тот вскочил и закричал топким голосом:

— Успокойте ваш сумасшедший дом!!!

Но мы продолжали палить вовсю, потому что красный пулеметчик уже почти замолчал, он был ранен, и красная кровь текла по его бледному лицу... И у нас тоже почти кончились пистоны, и неизвестно, что было бы дальше, но в это время из-за леса выскочили красные кавалеристы, у них в руках сверкали шашки, и они врезались в самую гущу врагов!

И те побежали куда глаза глядят, за тридевять земель, а красные кричали «ура».

И мы тоже, все, как один, кричали «ура».

И когда белых не стало видно, я крикнул:

— Прекратить огонь!

И все перестали стрелять, а на экране заиграла музыка, и один парень уселся за стол и стал есть гречневую кашу.

И тут я понял, что очень устал и тоже хочу есть.

Потом картина кончилась очень хорошо, и мы разошлись по домам.

А в понедельник, когда мы пришли в школу, нас, всех мальчишек, кто был в кино, собрали в большом зале.

Там стоял стол. За столом сидел Федор Николаевич, наш директор. Он встал и сказал:

— Сдавай оружие!

И мы все, по очереди, подходили к его столу и сдавали оружие. На столе, кроме пистолетов, оказались две рогатки и трубка для стрельбы горохом. Федор Николаевич сказал:

— Мы сегодня утром советовались, что с вами делать. Были разные предложения... Но я объявляю вам всем устный выговор за нарушение правил поведения в закрытых помещениях зрелищных предприятий! Кроме того, у вас, вероятно, будут снижены отметки за поведение. А теперь — идите и учитесь хорошо!

И мы пошли учиться. Но я сидел и плохо учился. Я все думал, что выговор — это очень скверно и что мама, наверно, будет сердиться...

Но на переменке Мишка Слонов сказал:

— А все-таки хорошо, что мы помогли красным продержаться до прихода своих!

И я сказал:

— Конечно!!! Хоть это и кино, а может быть, без нас они и не продержались бы!

Кто знает...

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ПОД КРОВАТЮ

Никогда я не забуду этот зимний вечер. На дворе было холодно, ветер тянул сильный, прямо резал щеки, как кипжалом, снег вертелся со страшной быстротой. Тоскливо было и скучно, просто выть хотелось, а тут еще папа и мама ушли в кино. И когда Мишка позвонил по телефону и позвал меня к себе, я тотчас же оделся и помчался к нему. Там было светло и тепло, и собралось много народу, пришла Аленка, за нею — Костик и Андрюшка. Мы играли во все игры, и было весело и шумно. И под конец Аленка вдруг сказала:

— А теперь в прятки! Давайте в прятки!

И мы стали играть в прятки. Это было прекрасно, потому что мы с Мишкой все время подсматривали так, чтобы водить выпадало маленьким: Костикку или Аленке, а сами все время прятались и вообще водили малышей за нос. Но все наши игры проходили только в Мишкиной комнате, и это довольно скоро нам стало надоедать, потому что комната была маленькая, тесная и мы все время прятались за портьеру, или за шкаф, или за сундук, и в конце концов мы стали потихоньку выплескиваться из Мишкиной комнаты и заполнили своей игрой большущий длинный коридор квартиры.

В коридоре было интереснее играть, потому что возле каждой двери стояли вешалки, а на них висели пальто и

шубы. Это было лучше для нас, потому что, например, кто водит и ищет нас, тот, уже конечно, не сразу догадается, что я притаился за Марьсеминой шубой и сам влез в валенки как раз под шубой.

И вот один раз, когда водить выпало Костику, он отвернулся к стене и стал громко выкрикивать:

— Раз! Два! Три! Четыре! Пять! Я иду искать!

Тут все брызнули в разные стороны, кто куда, чтобы прятаться. А Костик немножко подождал и крикнул снова:

— Раз! Два! Три! Четыре! Пять! Я иду искать! Опять!

Это считалось как бы вторым звонком. Мишка сейчас же залез на подоконник, Алепка — за шкаф, а мы с Андрюшкой выскользнули в коридор. Тут Андрюшка, недолго думая, полез под шубу Марьи Семеновны, где я все время прятался, и оказалось, что я остался без места! И я хотел дать Андрюшке леца, чтобы он освободил мое место, но тут Костик крикнул третье предупреждение:

— Пора не пора, я иду со двора!

И я испугался, что он меня сейчас увидит, потому что я совершенно не спрятался, и я заметался по коридору туда-сюда, как подстреленный заяц. И тут в самое нужное время я увидел раскрытую дверь и вскочил в нее.

Это была какая-то комната, и в ней на самом видном месте у стены стояла кровать, высокая и широкая, так что я моментально нырнул под эту кровать. Там был приятный полумрак и лежало довольно много вещей, и я стал сейчас же их рассматривать. Во-первых, под этой кроватью было очень много туфель разных фасонов, но все довольно старые, а еще стоял плоский деревянный чемодан, а на чемодане стояло алюминиевое корыто вверх тормашками, и я устроился очень удобно: голову на корыто, чемодан под поясницей, очень ловко и уютно. Я рассматривал разные тапочки и шлепанцы и все время думал, как это здорово я спрятался и сколько смеху будет, когда Костик меня тут найдет.

Я отогнул немножко кончик одеяла, которое свешивалось со всех сторон до пола и закрывало от меня всю комнату: я хотел глядеть на дверь, чтобы видеть, как Костик войдет и как он будет меня искать. Но в это время в комнату вошел никакой не Костик, а вошла Ефросинья Петровна, симпатичная старушка, но немножко похожая на бабу-ягу.

Она вошла, вытирая руки о полотенце.

Я все время потихоньку наблюдал за нею, думал, что

она обрадуется, когда увидит, как Костик вытащит меня из-под кровати. А я еще для смеху возьму какую-нибудь ее туфлю в зубы, она тогда наверняка упадет от смеха. Я был уверен, что вот еще секунда или две промелькнут, и Костик обязательно меня обнаружит. Поэтому я сам все время смеялся про себя, без звука.

У меня было чудесное настроение. И я все время поглядывал на Ефросинью Петровну. А она тем временем очень спокойно подошла к двери и ни с того ни с сего плотно захлопнула ее. А потом, гляжу, повернула ключик — и готово! Заперлась. Ото всех заперлась! Вместе со мной и корытом. Заперлась на два оборота.

В комнате сразу стало как-то тихо и зловеще. Но тут я подумал, что это она заперлась не надолго, а на минутку, и сейчас отперет дверь, и все пойдет как по маслу, и опять будет смех и радость, и Костик будет просто счастлив, что вот он в таком трудном месте меня отыскал! Поэтому я хотя и оробел, но не до конца, и все продолжал поглядывать на Ефросинью Петровну, что же она будет делать дальше.

А она села на кровать, и падо мной запели и заскрежетали пружины, и я увидел ее ноги. Она одну за другой скинула с себя туфли и осталась босиком, и прямо в одних чулках подошла к двери, и у меня от радости заколотилось сердце.

Я был уверен, что она сейчас отперет замок, но не тут-то было. Можете себе представить: она — чик! — и погасила свет. И я услышал, как опять завыли пружины над моей головой, а кругом кромешная тьма, и Ефросинья Петровна лежит в своей постели и не знает, что я тоже здесь, под кроватью. Я понял, что попал в скверную историю, что теперь я в заточении, в ловушке.

Сколько я буду тут лежать? Счастье, если час или два! А если до утра? А как утром вылезать? А если я не приду домой, папа и мама обязательно сообщат в милицию. А милиция придет с собакой-ищейкой. Кличка — Мухтар. А если в нашей милиции никаких собак нету? И если милиция меня не найдет? А если старуха, Ефросинья Петровна эта самая, проспит до утра, а утром пойдет в свой любимый сквер сидеть целый день и снова запрет меня, уходя? Тогда как? Я, конечно, поем немпожко из ее буфета, и когда она придет, придется мне лезть под кровать, потому что я съел ее продукты, и она отдаст меня под суд! И чтобы избежать позора, я буду жить под кроватью целую вечность? Ведь это самый настоящий кошмар! Конечно, тут

есть тот плюс, что я всю школу просижу под кроватью, но как быть с аттестатом, вот в чем вопрос. С аттестатом зрелости! Я под кроватью за двадцать лет не то что созрею, я там вполне перезрею.

Тут я не выдержал и со злости как трахнул кулаком по корыту, на котором лежала моя голова! Раздался ужасный грохот! И в этой страшной тишине при погашенном свете и в таком моем жутком положении мне этот стук показался раз в двадцать сильнее. Он просто оглушил меня.

И у меня сердце замерло от испуга. А старуха надо мной, видно, проснулась от этого грохота. Она, наверное, давно спала мирным сном, а тут, пожалуйста, — тах-тах — из-под кровати! Вот старуха полежала маленько, отдышалась и вдруг спросила темноту слабым и испуганным голосом:

— Ка-ра-ул?!

Я хотел ей ответить: «Что вы, Ефросинья Петровна, какое там «караул»? Спите дальше, это я, Дениска!» Я все это хотел ей ответить, но вдруг вместо ответа как чихну на всю ивановскую, да еще с хвостиком:

— Апчх! Чхи! Чхи! Чхи!..

Там, наверное, пыль поднялась под кроватью ото всей этой возни, но Ефросинья Петровна после моего чиха убедилась, что под кроватью происходит что-то неладное, здорово перепугалась и закричала уже не с вопросом, а совершенно утвердительно:

— Караул!

И я непонятно почему вдруг опять чихнул изо всех сил, с каким-то даже подвыванием чихнул, вот так:

— Апчхи-уу!

Ефросинья Петровна, как услышала этот вой, так закричала еще тише и слабей:

— Грабят!..

И видно, сама подумала, что если грабят, так это ерунда, не страшно. А вот если... И тут она довольно громко завопила:

— Режут!

Вот какое вранье! Кто ее режет? И за что? И чем? Разве можно по ночам кричать неправду? Поэтому я решил, что пора кончать это дело, и раз она все равно не спит, мне надо вылезать.

И все подо мной загремело, особенно корыто, ведь я в темноте не вижу. Грохот стоит дьявольский, а Ефросинья

Петровна уже слегка помешалась и кричит какие-то странные слова:

— Грабаул! Караулят!

А я выскочил и по стене шарю, где тут выключатель, и нашел вместо выключателя ключ, и обрадовался, что это дверь. Я повернул ключ, но оказалось, что открыл дверь от шкафа, и я тут же перевалился через порог этой двери, и стою, и тычусь в разные стороны, и только слышу, мне на голову разное барахлишко падает.

Ефросинья Петровна пищит, а я совсем онемел от страха, а тут кто-то забарабанил в настоящую-то дверь!

— Эй, Дениска! Выходи сейчас же! Ефросинья Петровна! Отдайте Дениску, за ним его папа пришел!

И папин голос:

— Скажите, пожалуйста, у вас нет моего сына?

Тут вспыхнул свет. Открылась дверь. И вся наша компания ввалилась в комнату. Они стали бегать по комнате, меня искать, а когда я вышел из шкафа, на мне было две шляпки и три платья.

Папа сказал:

— Что с тобой было? Где ты пропал?

Костик и Мишка сказали тоже:

— Где ты был, что с тобой приключилось? Рассказывай!

Но я молчал. У меня было такое чувство, что я и в самом деле просидел под кроватью ровно двадцать лет.

ЧТО Я ЛЮБЛЮ...

Я очень люблю лечь животом на папино колено, опустить руки и ноги и вот так висеть на колене, как белье на заборе. Еще я очень люблю играть в шашки, шахматы и домино, только чтоб обязательно выигрывать. Если не выигрывать, тогда не надо.

Я люблю слушать, как жук копается в коробочке. И люблю в выходной день утром залезть к папе в кровать, чтобы поговорить с ним о собаке: как мы будем жить просторней, и купим собаку, и будем с ней заниматься, и будем ее кормить, и какая она будет потешная и умная, и как она будет воровать сахар, а я буду за нею сам вытирать лужицы, и она будет ходить за мной, как верный пес.

Я люблю также смотреть телевизор; все равно что показывают, пусть даже только одни таблицы.

Я люблю дышать носом маме в ушко. Особенно я люблю петь, и всегда пою очень громко.

Ужасно люблю рассказы про красных кавалеристов и чтобы они всегда побеждали.

Люблю стоять перед зеркалом и гримасничать, как будто я Петрушка из кукольного театра. Шпроты я тоже очень люблю.

Люблю читать сказки про Канчиля. Это такая маленькая, умная и озорная лань, у нее веселые глазки, и маленькие рожки, и розовые отполированные копытца. Когда мы будем жить просторней, мы купим себе Канчиля; он будет жить в ванной.

Еще я люблю плавать там, где мелко, чтобы можно было держаться руками за песчаное дно.

Я люблю на демонстрациях махать красным флажком и дудеть в «уйди-уйди».

Очень люблю звонить по телефону.

Я люблю строгать, пилить, я умею лепить головы древних воинов и бизобов, и я слепил глухаря и Царь-пушку. Все это я люблю дарить.

Когда я читаю, я люблю грызть сухарь или еще что-нибудь.

Я люблю гостей.

Еще я очень люблю ужей, ящериц и лягушек. Они такие ловкие. Я ношу их в карманах. Я люблю, чтобы ужик лежал на столе, когда я обедаю. Люблю, когда бабушка кричит про лягушонка:

— Уберите эту гадость!—И убегает из комнаты. Тогда я помираю от смеха!

Я люблю посмеяться... Иногда мне писколько не хочется смеяться, но я себя заставляю, выдавливаю из себя смех, смотришь, через пять минут и вправду становится смешно, и я прямо кисну от смеха.

Когда у меня хорошее настроение, я люблю скакать. Однажды мы с папой пошли в зоопарк, и я скакал вокруг него на улице, и он спросил:

— Ты что скачешь?

А я сказал:

— Я скачу, что ты мой папа!

Он понял.

Я люблю ходить в зоопарк. Там чудесные слоны. И есть один слоненок. Когда мы будем жить просторней, мы купим слоненка. Я выстрою ему гараж.

Я очень люблю стоять позади автомобиля, когда он фырчит, и нюхать бензин.

Еще я люблю надавливать на глаз и видеть, как все предметы раздвигаются. Этим я могу заниматься целый день. Люблю ходить в кафе есть мороженое и запивать его газированной водой. От нее колет в носу и слезы выступают на глазах.

Когда я бегаю по коридору, то люблю изо всех сил топтать ногами.

Очень люблю лошадей, у них такие красивые и добрые лица.

Я много чего люблю!

...И ЧЕГО НЕ ЛЮБЛЮ!

Чего не люблю, так это лечить зубы. Как увижу зубное кресло, сразу хочется убежать на край света. Еще не люблю, когда приходят гости, вставать на стул и читать стихотворение.

Не люблю, когда папа с мамой уходят в театр.

Терпеть не могу яйца всмятку, когда их наболтают в стакане, крошат туда хлеба и заставляют есть. Это мне противно.

Еще не люблю, когда при мне секретничают: очень хочется узнать секрет!

Я не люблю, когда мама идет со мной погулять и вдруг встречает тетю Розу! Они тогда разговаривают только друг с дружкой, а я просто не знаю, чем бы заняться.

Не люблю ходить в новом костюме — я в нем как деревянный.

Когда мы играем в красных и белых, я не люблю быть белым. Тогда я выхожу из игры, и все! А когда я бываю красным, не люблю попадать в плен. Я все равно убегаю.

Не люблю, когда у меня выигрывают.

Не люблю, когда день рождения, играть в «Каравай»: я не маленький.

Не люблю, когда задаются.

И очень не люблю, когда порежусь, вдобавок мазать палец йодом.

Я не люблю, что у нас в коридоре тесно и взрослые каждую минуту снуют туда-сюда, кто со сковородкой, кто с чайником, и кричат:

— Дети, не вертитесь под ногами! Осторожно, у меня горячая кастрюля!

А когда я ложусь спать, не люблю, чтобы в соседней комнате пели хором: «Ландыши, ландыши». Очень не люблю, что по радио мальчишки и девчонки говорят старушечьими голосами!

Не люблю, что нет изобретения против клякс!

ПАДО ИМЕТЬ ЧУВСТВО ЮМОРА

Один раз мы с Мишкой делали уроки. Мы положили перед собой тетрадки и списывали. И в это время я рассказывал Мишке про лемуров, что у них большие глаза, как стеклянные блюдечки, и что я видел фотографию лемура, как он держится за авторучку, сам маленький-маленький и ужасно симпатичный.

Потом Мишка говорит:

— Написал?

Я говорю:

— Уже.

— Ты мою тетрадку проверь,— говорит Мишка, — а я — твою.

И мы поменялись тетрадками.

И я как увидел, что Мишка написал, так сразу стал хохотать. Гляжу, а Мишка тоже покатывается, прямо сиюний стал.

Я говорю:

— Ты чего, Мишка, покатываешься?

А он:

— Я покатываюсь, что ты неправильно списал. А ты чего?

Я говорю:

— А я то же самое, только про тебя. Гляди, ты написал: «Наступили мозы». Это кто такие «мозы»?

Мишка покраснел:

— Мозы — это, наверно, морозы. А ты вот написал: «Натала зима». Это что такое?

— Да,— сказал я,— не «натала», а «настала». Ничего не попишешь, надо переписывать. Это все лемуры виноваты.

И мы стали переписывать. А когда переписали, я сказал:

— Давай задачи задавать!

— Давай,— сказал Мишка.

В это время пришел папа. Он сказал:

— Здравствуйте, товарищи студенты...

И сел к столу.

Я сказал:

— Вот, папа, послушай, какую я Мишке задам задачу: вот у меня есть два яблока, а нас трое, как разделить их среди нас поровну?

Мишка сейчас же надулся и стал думать. Папа не надулся, но тоже задумался. Они думали долго.

Я тогда сказал:

— Сдаешься, Мишка?

Мишка сказал:

— Сдаюсь!

Я сказал:

— Чтобы мы все получили поровну, надо из этих яблок сварить компот.— И стал хохотать.— Это меня тетя Мила научила!..

Мишка надулся еще больше. Тогда папа сощурил глаза и сказал:

— А раз ты такой хитрый, Денис, дай-ка я задам тебе задачу.

— Давай задавай,— сказал я.

Папа ходил по комнате.

— Ну, слушай,— сказал он.— Один мальчишка учится в первом классе «В». Его семья состоит из четырех человек. Мама встает в семь часов и тратит на одевание десять минут. Зато папа чистит зубы пять минут. Бабушка ходит в магазин столько, сколько мама одевается плюс папа чистит зубы. А дедушка читает газеты, сколько бабушка ходит в магазин минус во сколько встает мама.

Когда они все вместе, начинают будить этого мальчишку из первого класса «В», на это уходит время чтения дедушкиных газет плюс бабушкино хождение в магазин.

Когда мальчишка из первого класса «В» просыпается, он потягивается столько времени, сколько одевается мама плюс папина чистка зубов. А умывается он, сколько дедушкины газеты, деленные на бабушку. На уроки он опаздывает на столько минут, сколько он потягивается плюс умывается минус мамينو вставание, умноженное на папины зубы.

Спрашивается: кто же этот мальчишка из первого «В» и что ему грозит, если это будет продолжаться? Все!

Тут папа остановился посреди комнаты и стал смотреть на меня. А Мишка захохотал во все горло и стал то-

же смотреть на меня. Они оба на меня смотрели и хохотали.

Я сказал:

— Я не могу сразу решить эту задачу, потому что мы еще этого не проходили.

И больше я не сказал ни слова, а вышел из комнаты, потому что я сразу догадался, что в ответе этой задачи получится лептяй и что такого скоро выгонят из школы. Я вышел из комнаты в коридор и залез на вешалку и стал думать, что если это задача про меня, то это неправда, потому что я всегда встаю довольно быстро и потягиваюсь совсем недолго, ровно столько, сколько нужно. И еще я подумал, что если папе так хочется на меня выдумывать, то, пожалуйста, я могу уйти из дома прямо на целину. Там работа всегда найдется, там люди нужны, особенно молодежь. Я там буду покорять природу, и папа приедет с делегацией на Алтай, увидит меня, и я остановлюсь на минутку, скажу:

«Здравствуй, папа»,— и пойду дальше покорять.

И он скажет:

«Тебе привет от мамы...»

А я скажу:

«Спасибо... Как она поживает?»

А он скажет:

«Ничего».

А я скажу:

«Наверно, она забыла своего единственного сына?»

А он скажет:

«Что ты, она похудела на тридцать семь кило! Вот как скучает!»

А что я ему скажу дальше, я не успел придумать, потому что на меня упало пальто и папа вдруг прилез за вешалку. Он меня увидел и сказал:

— Ах ты, вот он где! Что у тебя за такие глаза? Неужели ты принял эту задачу на свой счет?

Он поднял пальто и повесил его на место и сказал дальше:

— Я это все выдумал. Такого мальчишки и на свете-то нет, не то что в вашем классе!

И папа взял меня за руки и вытащил из-за вешалки.

Потом еще раз поглядел на меня пристально и улыбнулся:

— Надо иметь чувство юмора,— сказал он мне, и гла-

за у него стали веселые-веселые.— А ведь это смешная задача, правда? Ну! Засмейся!

И я засмеялся.

И он тоже.

И мы пошли в комнату.

«ТИХА УКРАИНСКАЯ НОЧЬ...»

Наша преподавательница литературы Раиса Ивановна заболела. И вместо нее к нам пришла Елизавета Николаевна. Вообще-то Елизавета Николаевна занимается с нами географией и естествознанием, но сегодня был исключительный случай, и наш директор упросил ее заменить захворавшую Раису Ивановну.

Вот Елизавета Николаевна пришла. Мы поздоровались с нею, и она уселась за учительский столик. Она, значит, уселась, а мы с Мишкой стали продолжать наше сражение — у нас теперь в моде военно-морская игра. К самому приходу Елизаветы Николаевны перевес в этом матче определился в мою пользу: я уже протаранил Мишкиного эсминца и вывел из строя три его подводные лодки. Теперь мне осталось только разведать, куда задевался его линкор. Я пошевелил мозгами и уже открыл было рот, чтобы сообщить Мишке свой ход, но Елизавета Николаевна в это время заглянула в журнал и произнесла:

— Кораблев!

Мишка тотчас прошептал:

— Прямое попадание!

Я встал.

Елизавета Николаевна сказала:

— Иди к доске!

Мишка снова прошептал:

— Прощай, дорогой товарищ!

И сделал «надгробное» лицо.

А я пошел к доске. Елизавета Николаевна сказала:

— Дениска, стой ровнее! И расскажи-ка мне, что вы сейчас проходите по литературе.

— Мы «Полтаву» проходим, Елизавета Николаевна,— сказал я.

— Назови автора,— сказала она; видно было, что она тревожится, знаю ли я.

— Пушкин, Пушкин,— сказал я успокоительно.

— Так,— сказала она,— великий Пушкин, Александр

Сергеевич, автор замечательной поэмы «Полтава». Верно. Ну, скажи-ка, а ты какой-нибудь отрывок из этой поэмы выучил?

— Конечно,— сказал я.

— Какой же?— спросила Елизавета Николаевна.

— Тиха украинская ночь...

— Прекрасно,— сказала Елизавета Николаевна и прямо расцвела от удовольствия. — «Тиха украинская ночь...» — это как раз одно из моих любимых мест! Читай, Кораблев.

Одно из ее любимых мест! Вот это здорово! Да ведь это и мое любимое место! Я его, еще когда маленький был, выучил. И с тех пор, когда я читаю эти стихи, все равно, вслух или про себя, мне всякий раз почему-то кажется, что хотя я сейчас и читаю их, но это кто-то другой читает, не я, а настоящий-то я стою на теплом, нагретом за день деревянном крыльчке, в одной рубашке и босиком, и почти сплю, и клюю носом, и шатаюсь, по все-таки вижу всю эту удивительную красоту, и спящий маленький городок с его серебряными тополями, и вижу белую церковку, как она тоже спит и плывет на кудрявом облачке передо мною, а наверху звезды, они стрекочут и насвистывают, как кузнечики, а где-то у моих ног спит и перебирает лапками во сне толстый, налитой молоком щенок, которого нет в этих стихах. Но я хочу, чтобы он был, а рядом на крыльчке сидит и вздыхает мой дедушка с легкими волосами, его тоже нет в этих стихах, я его никогда не видел, он погиб на войне, его нет на свете, но я его так люблю, что у меня теснит сердце...

— Читай, Денис, что же ты,— повысила голос Елизавета Николаевна.

И я встал поудобней и начал читать. И опять сквозь меня прошли эти странные чувства. Я старался только, чтобы голос у меня не дрожал.

...Тиха украинская ночь...
Прозрачно небо. Звезды блещут.
Своей дремоты превозмочь
Не хочет воздух. Чуть трепещут
Сребристых тополей листы.
Луна спокойно с высоты
Над Белой Церковью сияет...

— Стоп, стоп, довольно!— перебила меня Елизавета Николаевна.— Да, велик Пушкин, огромен! Ну-ка, Кораблев, теперь скажи-ка мне, что ты понял из этих стихов?

Эх, зачем она меня перебила! Ведь стихи были еще здесь, во мне, а она остановила меня на полном ходу. Я еще не опомнился. Поэтому я притворился, что не понял вопроса, и сказал:

— Что? Кто? Я?

— Да, ты. Ну-ка, что ты понял?

— Все,— сказал я.— Я понял все. Луна. Церковь. Тополя. Все спят.

— Ну... — недовольно протянула Елизавета Николаевна,— это ты немножко поверхностно понял... Надо глубже понимать. Не маленький. Ведь это Пушкин...

— А как? — спросил я.— Как надо Пушкина понимать?— И я сделал недотепанное лицо.

— Ну давай по фразам,— с досадой сказала она.— Раз уж ты такой. «Тиха украинская ночь». Как ты это понял?

— Я понял, что тихая ночь.

— Нет,— сказала Елизавета Николаевна.— Пойми же ты, что в словах «Тиха украинская ночь» удивительно тонко подмечено, что Украина находится в стороне от центра перемещения континентальных масс воздуха. Вот что тебе нужно понимать и знать, Кораблев! Договорились? Читай дальше!

— Прозрачно небо,— сказал я,— небо, значит, прозрачное. Ясное. Прозрачно небо. Так и написано: «небо прозрачно».

— Эх, Кораблев, Кораблев,— грустно и как-то безнадежно сказала Елизавета Николаевна.— Ну что ты, как попка, затвердил: «прозрачно небо», «прозрачно небо». Заладил. А ведь в этих двух незначащих словах Пушкин рассказал нам, что количество выпадающих осадков в этом районе весьма незначительно, благодаря чему мы и можем наблюдать безоблачное небо. Теперь ты понимаешь, какова сила пушкинского таланта? Давай дальше.

Но мне уже почему-то не хотелось читать. Как-то все сразу надоело. И поэтому я наскоро пробормотал:

...Звезды блещут...
Своей дремоты превозмочь
Не хочет воздух...

— А почему? — оживилась Елизавета Николаевна.

— Что «почему»? — сказал я.

— Почему он не хочет? — повторила она.

— Что «не хочет»?

— Дремоты перевозмочь.

— Кто?

— Воздух.

— Какой?

— Как какой, украинский! Ты ведь сам только сейчас говорил: «Своей дремоты перевозмочь не хочет воздух...» Так почему же он не хочет?

— Не хочет, и все,— сказал я с сердцем.— Просыпаться не хочет! Хочет дремать, и все дела!

— Ну нет,— рассердилась Елизавета Николаевна и поводила перед моим носом указательным пальцем из стороны в сторону. Получалось, как будто она хочет сказать:

«Эти номера у вашего воздуха не пройдут».

— Ну нет,— повторила она.— Здесь дело в том, что Пушкин намекает на тот факт, что на Украине находится небольшой циклонический центр с давлением около семисот сорока миллиметров. А, как известно, воздух в циклоне движется от краев к середине. И именно это явление и вдохновило поэта на бессмертные строки: «Чуть трепещут, м-м-м... каких-то тополей листы!» Понял, Кораблев? Усвоил? Садись!

И я сел. А после уроков Мишка вдруг отвернулся от меня, покраснел и сказал:

— А мое любимое — про сосну:

На Севере диком стоит одиноко
На голой вершине сосна...

Знаешь?

— Знаю, конечно,— сказал я.— Как не знать.

Я выдал ему «научное» лицо.

— «На Севере диком» — этими словами Лермонтов сообщил нам, что сосна, как ни крути, а все-таки довольно морозоустойчивое растение. А фраза «Стоит на голой вершине» дополняет, что к тому же обладает сверхмощным стержневым корнем...

Мишка с испугом глянул на меня, а я на него. А потом расхохотались. И хохотали долго, как безумные. Всю перемену.

ДЕВОЧКА НА ШАРЕ

Одн раз мы всем классом пошли в цирк. Я очень радовался, когда шел туда, потому что мне уже скоро восемь лет, а я был в цирке только один раз, и то очень давно.

Главное, Аленке всего только шесть лет, а вот она уже успела побывать в цирке целых три раза. Это очень обидно. И вот теперь мы всем классом пришли в цирк, и я думал, как хорошо, что я уже большой и сейчас, в этот раз, все увижу как следует. А в тот раз я был маленький, я не понимал, что такое цирк. В тот раз, когда на арену вышли акробаты и один полез на голову другому, я ужасно расхохотался, потому что подумал, что это они так нарочно делают, для смеху, ведь дома я никогда не видел, чтобы взрослые дядьки карабкались друг на друга. И на улице тоже этого не случалось. Вот я и рассмеялся во весь голос. Я не понимал, что это артисты показывают свою ловкость. И еще в тот раз я все больше смотрел на оркестр, как они играют — кто на барабанах, кто на трубе, — и дирижер машет палочкой, и никто на него не смотрит, а все играют как хотят. Это мне очень понравилось, но пока я смотрел на этих музыкантов, в середине арены выступали артисты. И я их не видел и пропускал самое интересное. Конечно, я в тот раз еще совсем глупый был.

И вот мы пришли всем классом в цирк. Мне сразу понравилось, что он пахнет чем-то особенным, и что на стенах висят яркие картины, и кругом светло, и в середине лежит красивый ковер, а потолок высокий, и там привязаны разные блестящие качели. И в это время заиграла музыка, и все кинулись рассаживаться, а потом купили эскимо и стали есть. И вдруг из-за красной занавески вышел целый отряд каких-то людей, одетых очень красиво — в красные костюмы с желтыми полосками. Они встали по бокам занавески, и между ними прошел их начальник в черном костюме. Он громко и немножко непонятно что-то прокричал, и музыка заиграла быстро-быстро и громко, и на арену выскочил артист-жонглер, и началась потеха! Он кидал шары, по десять или по сто штук вверх и ловил их обратно. А потом схватил полосатый мяч и стал им играть. Он и головой его подшибал, и затылком, и лбом, и по спине катал, и каблуком наподдавал, и мяч катался по всему его телу, как примагниченный. Это было очень красиво. И вдруг жонглер кинул этот мячик к нам в публику, и тут же началась настоящая суматоха, потому что я поймал этот мячик и бросил его в Валерку, а Валерка — в Мишку, а Мишка вдруг нацелился и ни с того ни с сего засветил прямо в дирижера, но в него не попал, а попал в барабан! Бам! Барабанщик рассердился и кинул мяч обратно жонглеру, но мяч не долетел, он просто угодил одной красивой тетеньке в при-

ческу, и у нее получилась не прическа, а нахлобучка. И мы все так хохотали, что чуть не померли.

И, когда жонглер убежал за занавеску, мы долго не могли успокоиться. Но тут на арену выкатили огромный голубой шар, и дядька, который объявляет, вышел на середину и что-то прокричал неразборчивым голосом. Понять нельзя было ничего, и оркестр опять заиграл что-то очень веселое, только не так быстро, как раньше.

И вдруг на арену выбежала маленькая девочка. Я таких маленьких и красивых никогда не видел. У нее были синие-синие глаза, и вокруг них были длинные ресницы. Она была в серебряном платье с воздушным плащом, и у нее были длинные руки, она ими взмахнула, как птица, и вскочила на этот огромный голубой шар, который для нее выкатили. Она стояла на шаре. И потом вдруг побежала, как будто захотела прыгнуть с него, но шар завертелся под ее ногами, и она па нем вот так, как будто бежала, а на самом деле ехала вокруг арены. Я таких девочек никогда не видел. Все они были обыкновенные, а эта какая-то особенная. Она бегала по шару своими маленькими ножками, как по ровному полу, и голубой шар вез ее на себе, она могла ехать на нем и прямо, и назад, и налево, и куда хочешь! Она весело смеялась, когда так бегала, как будто плыла, и я подумал, что она, наверно, и есть Дюймовочка, такая она была маленькая, милая и необыкновенная. В это время она остановилась, и кто-то ей подал разные колокольчатые браслеты, и она надела их себе на туфельки и на руки и снова стала медленно кружиться на шаре, как будто танцевать. И оркестр заиграл тихую музыку, и было слышно, как тонко звенят золотые колокольчики на девочкиных длинных руках. И это все было как в сказке. И тут еще потушили свет, и оказалось, что девочка вдобавок умеет светиться в темноте, и она медленно плыла по кругу, и светилась, и звенела, и это было удивительно, я за всю свою жизнь не видел ничего такого подобного.

И когда зажгли свет, все захлопали и завопили «браво», и я тоже кричал «браво». А девочка соскочила со своего шара и побежала вперед, к нам поближе, и вдруг на бегу перевернулась через голову, как молния, и еще, и еще раз, и все вперед и вперед. И мне показалось, что вот она сейчас разобьется о барьер, и я вдруг очень испугался, и вскочил на ноги, и хотел побежать к ней, чтобы подхватить ее и спасти, но девочка вдруг остановилась как вкопанная, раскинула свои длинные руки, оркестр замолк, и она стояла

и улыбалась. И все захопало изо всех сил и даже застучали ногами. И в эту минуту эта девочка посмотрела на меня, и я увидел, что она увидела, что я ее вижу и что я тоже вижу, что она видит меня, и она помахала мне рукой и улыбнулась. Она мне одному помахала и улыбнулась. И я опять захотел побежать к ней, и я протянул к ней руки. А она вдруг послала нам всем воздушный поцелуй и убежала за красную занавеску, куда убегали все артисты. И на арену вышел клоун со своим петухом и начал чихать и падать, но мне было не до него. Я все время думал про девочку на шаре, какая она удивительная и как она помахала мне рукой и улыбнулась, и больше уже ни на что не хотел смотреть. Наоборот, я крепко зажмурил глаза, чтобы не видеть этого глупого клоуна с его красным носом, потому что он мне портил мою девочку, она все еще представлялась на своем голубом шаре.

А потом объявили антракт, и все побежали в буфет пить сидро, а я тихонько спустился вниз и подошел к занавеске, откуда выходили артисты. Мне хотелось еще раз посмотреть на эту девочку, и я стоял у занавески и глядел — вдруг она выйдет. Но она не выходила.

А после антракта выступали львы, и мне не понравилось, что укротитель все время таскал их за хвосты, как будто это были не львы, а дохлые кошки. Он заставлял их пересаживаться с места на место или укладывал их на пол рядком и ходил по львам погами, как по ковру, а у них был такой вид, что вот им не дают полежать спокойно. Это было неинтересно, потому что лев должен охотиться и гнаться за бизоном в бескрайних пампасах, оглашая окрестности грозным рычанием, приводящим в трепет туземное население, а так получается не лев, а просто я сам не знаю что.

И когда кончилось и мы пошли домой, я все время думал про девочку на шаре.

А вечером папа спросил:

— Ну как? Понравилось в цирке?

Я сказал:

— Папа! Там в цирке есть девочка. Она танцует на голубом шаре. Такая славная, лучше всех! Она мне улыбнулась и махнула рукой! Мне одному, честное слово! Понимаешь, папа? Пойдем в следующее воскресенье в цирк! Я тебе ее покажу!

Папа сказал:

— Обязательно пойдем. Обожаю цирк!

А мама посмотрела на нас обоих так, как будто увидела в первый раз.

...И началась длинная неделя, и я ел, учился, вставал и ложился спать, играл и даже дрался, и все равно каждый день думал, когда же придет воскресенье, и мы с папой пойдем в цирк, и я снова увижу девочку на шаре, и покажу ее папе, и, может быть, папа пригласит ее к нам в гости, и я подарю ей пистолет-браунинг и нарисую корабль на всех парусах.

Но в воскресенье папа не смог идти. К нему пришли товарищи, они копались в каких-то чертежах, и кричали, и курили, и пили чай, и сидели допоздна, и после них у мамы разболелась голова. И папа сказал мне, когда мы убирались:

— В следующее воскресенье, даю клятву Верности и Чести.

И я так ждал следующего воскресенья, что даже не помню, как прожил еще одну неделю. И папа сдержал свое слово, он пошел со мной в цирк и купил билеты во второй ряд, и я радовался, что мы так близко сидим; и представление началось, и я начал ждать, когда появится девочка на шаре. Но человек, который объявляет, все время объявлял разных других артистов, и они выходили и выступали повсюду, но девочка все не появлялась. А я прямо дрожал от нетерпения, мне очень хотелось, чтобы папа увидел, какая она необыкновенная в своем серебряном костюме с воздушным плащом и как она ловко бегаёт по голубому шару. И каждый раз, когда выходил объявляющий, я шептал папе:

— Сейчас он объявит ее!

Но он, как пазло, объявлял кого-нибудь другого, и у меня даже ненависть к нему появилась, и я все время говорил папе:

— Да ну его! Это ерунда на постном масле! Это не то! А папа говорил, не глядя на меня:

— Не мешай. Это очень интересно! Самое то!

Я подумал, что папа, видно, плохо разбирается в цирке, раз это ему интересно. Посмотрим, что он запоет, когда увидит девочку на шаре. Небось подскочит на своем стуле на два метра в высоту.

Но тут вышел объявляющий и своим глухонемым голосом крикнул:

— Ант-рра-кт!

Я просто ушам своим не поверил! Антракт! А почему?

Ведь во втором отделении будут только львы! А где же моя девочка на шаре? Где она? Почему она не выступает? Может быть, она заболела? Может быть, она упала и у нее сотрясение мозга?

Я сказал:

— Папа, пойдем скорей узнаем, где же девочка на шаре!

Папа ответил:

— Да, да! А где же твоя эквилибристка? Что-то не видать! Пойдем-ка купим программку!..

Он был веселый и довольный. Он оглянулся вокруг, засмеялся и сказал:

— Ах, люблю... Люблю я цирк! Самый запах этот... Голову кружит...

И мы пошли в коридор. Там толклось много народу, и продавались конфеты и вафли, и на стенах висели фотографии разных тигриных морд, и мы побродили немного и нашли наконец контролершу с программками. Папа купил у нее одну и стал просматривать. А я не выдержал и спросил у контролерши:

— Скажите, пожалуйста, а когда будет выступать девочка на шаре?

Она сказала:

— Какая девочка?

Папа сказал:

— В программе указана эквилибристка на шаре Т. Воронцова. Где она?

Я стоял и молчал.

Контролерша сказала:

— Ах, вы про Танечку Воронцову? Уехала она. Усхала. Что ж вы поздно хватились?

Я стоял и молчал.

Папа сказал:

— Мы уже две недели не знаем покоя. Хотим посмотреть эквилибристку Т. Воронцову, а ее нет.

Контролерша сказала:

— Да она уехала... Вместе с родителями... Родители у нее «Бронзовые люди» — два Яворс. Может, слышали? Очень жаль... Вчера только уехали.

Я сказал:

— Вот видишь, папа...

Он сказал:

— Я не знал, что она уедет. Как жалко... Ох ты боже мой!.. Ну что ж... Ничего не поделаешь...

Я спросил у контролерши:

— Это, значит, точно?

Она сказала:

— Точно.

Я сказал:

— А куда, неизвестно?

Она сказала:

— Во Владивосток.

Вон куда. Далеко. Владивосток. Я знаю, он помещается в самом конце карты, от Москвы направо.

Я сказал:

— Какая даль.

Контролерша вдруг заторопилась:

— Ну идите, идите на места, уже гасят свет!

Папа подхватил:

— Пошли, Дениска! Сейчас будут львы! Косматые, рычат — ужас! Бежим смотреть!

Я сказал:

— Пойдем домой, папа.

Он сказал:

— Вот так раз...

Контролерша засмеялась. Но мы подошли к гардеробу, и я протянул помер, и мы оделись и вышли из цирка. Мы пошли по бульвару и шли так довольно долго, потом я сказал:

— Владивосток — это на самом конце карты. Туда, если поездом, целый месяц проедешь...

Папа молчал. Ему, видно, было не до меня. Мы прошли еще немного, и я вдруг вспомнил про самолет и сказал:

— А на Ту-104 за три часа — и там!

Но папа все равно не ответил. Он молча шагал и крепко держал меня за руку. Когда мы вышли на улицу Горького, он сказал:

— Зайдем в кафе «Мороженое». Смутузим по две порции, а?

Я сказал:

— Не хочется что-то, папа.

Он сказал:

— Там подают воду, называется «Кახетинская». Нигде в мире не пил лучшей воды!

Я сказал:

— Не хочется, папа.

Он не стал меня уговаривать. Он прибавил шагу и

крепко сжал мою руку. Мне стало даже больно. Он шел очень быстро, и я еле-еле поспевал за ним. Отчего он шел так быстро? Почему он не разговаривал со мной? Мне захотелось на него взглянуть. Я поднял голову. У него было очень серьезное и грустное лицо.

СИНИЙ КИНЖАЛ

Это дело было так: у нас был урок труда. Раиса Ивановна сказала, чтобы мы сделали каждый по отрывному календарю, кто как сообразит. Я взял картонку, склеил ее зеленой бумагой, посредине прорезал щелку, к ней прикрепил спичечную коробку, а на коробку положил стопочку белых листиков, подогнал, подклеил, подровнял и на первом листике написал: «С Первым маем».

Получился очень красивый календарь для маленьких детей. Если, например, у кого кукла, то для этих кукол. В общем, игрушечный. И Раиса Ивановна поставила мне пять.

Она сказала:

— Мне нравится.

И я пошел к себе и сел на место. И в это время Левка Бурин тоже стал сдавать свой календарь, а Раиса Ивановна посмотрела на его работу и говорит:

— Наляпано.

И поставила Левке тройку.

А когда наступила перемена, Левка остался сидеть за партой. У него был довольно-таки невеселый вид. А я в это время как раз промокал кляксу, и когда увидел, что Левка такой грустный, я прямо с промокашкой в руке пошел к Левке. Я хотел его развеселить, потому что мы с ним дружим и он один раз подарил мне монетку с дыркой. И еще обещал принести мне стреляную охотничью гильзу, чтобы и я из нее сделал атомный телескоп.

Я подошел к Левке и сказал:

— Эх ты, Ляпа!

И соорил ему косые глаза.

И тут Левка ни с того ни с сего как даст мне пепалом по затылку. Вот когда я понял, как искры из глаз летят. Я страшно разозлился на Левку и треснул его изо всех сил промокашкой по шее. Но он, конечно, даже не почувствовал, а схватил свой портфель и пошел домой. А у меня даже слезы капали из глаз — так здорово поддал мне

Левка, — капали прямо на промокашку и расплывались по ней, как бесцветные кляксы...

И тогда я решил Левку убить. После школы я целый день сидел дома и готовил оружие. Я взял у папы с письменного стола его синий разрезальный нож из пластмассы и целый день точил его о плитку. Я его упорно точил, терпеливо, он очень медленно затачивался, но я все точил и все думал, как я приду завтра в класс и мой верный синий кинжал блеснет перед Левкой, я занесу его над Левкиной головой, а Левка упадет на колени и будет умолять меня даровать ему жизнь, и я скажу:

— Извинись!

И он скажет:

— Извини!

А я засмеюсь громовым смехом, вот так:

— Ха-ха-ха-ха!

И эхо долго будет повторять в ущельях этот зловеший хохот. А девчонки от страха залезут под парты.

И когда я лег спать, то все ворочался с боку на бок и вздыхал, потому что мне было жалко Левку, хороший он человек, но теперь пусть несет заслуженную кару, раз он стукнул меня пеналом по голове. И синий кинжал лежал у меня под подушкой, и я сжимал его рукоятку и чуть не стонал, так что мама спросила:

— Ты что там кряхтишь?

Я сказал:

— Ничего!

Мама сказала:

— Живот, что ли, болит?

Но я ничего ей не ответил, просто я взял и отвернулся к стенке и стал дышать, как будто я давно уже сплю.

Утром я ничего не мог есть. Только выпил две чашки чаю с хлебом и с маслом, с картошкой и сосиской. Потом пошел в школу. Синий кинжал я положил в портфель, с самого веру, чтоб удобно было достать.

И перед тем как войти в класс, я долго стоял у дверей и не мог войти, так сильно билось сердце. Но все-таки я себя переборол, толкнул дверь и вошел. В классе все было, как всегда, а Левка стоял у окна с Валериком. Я как его увидел, сразу стал расстегивать портфель, чтобы достать кинжал. Но Левка в это время побежал ко мне. Я подумал, что он опять стукнет меня пеналом или чем-нибудь еще, и стал еще быстрее расстегивать портфель, но Левка вдруг остановился около меня и как-то затоптался на месте, а по-

том вдруг наклонился ко мне близко-близко и сказал:

— На!

И он протянул мне золотую стреляную гильзу. И глаза у него стали такие, как будто он еще что-то хотел сказать, но стеснялся, а мне вовсе и не нужно было, чтобы он говорил, просто я вдруг совершенно забыл, что хотел его убить, как будто и не собирался никогда, даже удивительно.

Я сказал:

— Хорошая какая гильза.

Взял ее. И пошел на свое место.

ЗЕЛЕНЧАТЫЕ ЛЕОПАРДЫ

Мы сидели с Мишкой и Аленкой на песке около домоуправления и строили площадку для запуска космического корабля. Мы уже вырыли яму и уложили ее кирпичом и стеклышками, а в центре оставили пустое место, чтобы здесь потом поставить саму ракету. Я принес ведро и положил в него аппаратуру.

Мишка сказал:

— Надо вырыть боковой ход под ракету, чтоб, когда она будет взлетать, газ бы вышел по этому ходу.

И мы стали опять рыть и копать и довольно быстро устали, потому что там было много камшей.

Аленка сказала:

— Я устала! Перекур!

А Мишка сказал:

— Правильно.

И мы сели отдыхать.

В это время из второго парадного вышел Костик. Он был такой худой, прямо невозможно узнать. И бледный, нисколечко не загорел. Он подошел к нам и говорит:

— Здорово, ребята!

Мы все сказали:

— Здорово, Костик!

Он тихонько сел рядом с нами.

Я сказал:

— Ты что, Костик, такой худющий? Вылитый Кащей...

Он сказал:

— Да это у меня корь была.

Аленка подняла голову:

— А теперь ты выздоровел?

— Да,— сказал Костик,— я теперь совершенно выздоровел.

Мишка отодвинулся от Костика и сказал:

— Заразный небось?

А Костик улыбнулся:

— Нет, что ты, не бойся. Я не заразный. Вчера доктор сказал, что я уже могу общаться с детским коллективом.

Мишка придвинулся обратно, а я спросил:

— А когда болел, больно было?

— Нет,— ответил Костик,— не больно. Скучно очень. А так ничего. Мне картинки переводные дарили, я их все время переводил, надоело до смерти.

Аленка сказала:

— Да, болеть хорошо! Когда болеешь, всегда что-нибудь дарят.

Мишка сказал:

— Так ведь и когда здоровый, тоже дарят. В день рождения или когда елка.

Я сказал:

— Еще дарят, когда в другой класс переходишь с пятерками.

Мишка сказал:

— Мне не дарят. Одни тройки! А вот когда корь, все равно ничего особенного не дарят, потому что потом все игрушки надо сжигать. Плохая болезнь корь, никуда не годится.

Костик спросил:

— А разве бывают хорошие болезни?

— Ого,— сказал я,— сколько хочешь! Ветрянка, например. Очень хорошая, интересная болезнь. Я когда болел, мне все тело, каждую болячку отдельно зеленкой мазали. Я был похож на леопарда,— что, плохо разве?

— Конечно, хорошо,— сказал Костик.

Аленка посмотрела на меня и сказала:

— Когда лишаи, тоже очень красивая болезнь.

Но Мишка только засмеялся.

— Сказала тоже — «красивая»! Намажут два-три пятнышка, вот и вся красота. Нет, лишаи — это мелочь. Я лучше всего люблю грипп. Когда грипп, чаю дают с малиновым вареньем. Ешь сколько хочешь, просто не верится. Один раз я больной целую банку съел. Мама даже удивилась, смотрите, говорит, у мальчика грипп, температура 38, а такой аппетит. А бабушка сказала: грипп разный бывает, это у него такая новая форма, дайте ему еще, это у него орга-

низм требует. И мне дали еще, но я больше не смог есть, такая жалость... Это грипп, наверно, на меня так плохо действовал.

Тут Мишка подперся кулаком и задумался, а я сказал:

— Грипп, конечно, хорошая болезнь, но с гландами не сравнить, куда там!

— А что? — сказал Костик.

— А то, — сказал я, — что когда гланды вырезают, мороженого дают потом, для заморозки. Это почище твоего варенья!

Аленка сказала:

— А гланды отчего заводятся?

Я сказал:

— От насморка. Они в носу вырастают, как грибы, потому что сырость.

Мишка вздохнул и сказал:

— Насморк — болезнь ерундовая. Каплют чего-то в нос, еще хуже течет.

Я сказал:

— Зато керосин можно пить. Не слышно запаха.

— А зачем пить керосин?

Я сказал:

— Ну, не пить, так в рот набирать. Вот наберешь полный рот керосину, а потом палку зажженную возьмешь в руки и керосином изо рта на нее как брызнешь, получается очень красивый фонтан. Я в цирке видел и не понимал, как этот фонтан делается, а мне Гришка объяснил, он все знает про цирк.

— В цирке лягушек глотают, — сказала Аленка.

— Ага, — сказал Костик, — и крыс тоже едят! Для смеху!

— И крокодилов тоже! — добавил Мишка.

Я прямо покотился от хохота. Надо же такое выдумать, ведь всем известно, что крокодил сделан из панциря, как же его есть? Я сказал:

— Ты, Мишка, видно, с ума сошел! Как ты будешь есть крокодила, когда он жесткий? Его нипочем нельзя прожевать.

— Вареного-то? — сказал Мишка.

— Так тебе и станет крокодил вариться! — закричал я на Мишку.

— Он же зубастый, — сказала Аленка, и видно было, что она уже испугалась.

А Костик добавил:

— Он сам их ест что ни день, укротителей этих.

Аленка сказала:

— Ну да? — И глаза у нее стали, как белые пуговицы.

Костик только сплонул в сторону.

Аленка скривила губы:

— Говорили про хорошее, про гриба и про лишаев, а теперь про крокодилов. Я их боюсь...

Мишка сказал:

— Про болезни уже все переговорили. Кашель, например, что в нем толку? Разве вот что в школу не ходить...

— И то хлеб,— сказал Костик,— а вообще вы правильно говорили: когда болеешь, все тебя больше любят. Не сравнить...

— Ласкают,— сказал Мишка,— гладят... Я заметил: когда болеешь, все можно выпросить — игру какую хочешь, или ружье, или паяльник.

Я сказал:

— Конечно, нужно только, чтобы болезнь была пострашнее. Вот если ногу сломаешь или шею, тогда чего хочешь купят.

Аленка сказала:

— И велосипед?!

А Костик хихикнул:

— А зачем велосипед, если нога сломана?

Я сказал:

— Так ведь она прирастет!

Костик сказал:

— Верно?

Я сказал:

— А куда же она денется. Да, Мишка?

Мишка кивнул головой, и тут Аленка натянула платье на колени и спросила:

— А почему это,— спросила она,— если вот, например, порежешься, или шишку набьешь, или там синяк, то наоборот бывает, что тебе еще и наподдадут. Почему это так бывает?

Я сказал:

— Несправедливость! — и стукнул ногой по ведру, где у нас лежала аппаратура.

Костик спросил:

— А это что такое вы здесь затеяли?

Я сказал:

— Площадка для запуска космического корабля!

Костик прямо закричал:

— Так что же вы молчите! Черти полосатые! Прекратите разговоры. Давайте скорей строить!!!

И мы прекратили разговоры и стали строить.

ОН ЖИВОЙ И СВЕТИТСЯ...

Однажды вечером я сидел во дворе возле песка и ждал маму. Она, наверное, задерживалась в институте, или в магазине, или, может быть, долго стояла на автобусной остановке. Не знаю. Только все родители нашего двора уже пришли, и все ребята пошли с ними по домам и уже, наверное, пили чай с бубликами и брынзой, а моей мамы все еще не было.

И вот уже стали зажигаться в окнах огоньки, и радио заиграло музыку, и в небе задвигались темные облака. Некоторые из них были похожи на бородатых стариков.

И мне захотелось есть, а мамы все не было, и я подумал, что, если бы я знал, что моя мама хочет есть и ждет меня где-то на краю света, я бы моментально к ней побежал, а не опаздывал бы и не заставлял ее сидеть на песке и скучать.

И в это время вышел во двор Мишка. Он сказал:

— Здорóво!

И я сказал:

— Здорóво!

Мишка сел рядом со мной и взял в руки самосвал.

— Ого!— сказал Мишка.— Где достал? А он сам набирает песок? Не сам? А сам сваливает? Да? А ручка? Для чего она? Ее можно вертеть? Да? А? Ого? Дашь мне его домой?

Я сказал:

— Нет, домой не дам. Подарок. Папа подарил перед отъездом.

Мишка надулся и отодвинулся от меня. На дворе стало еще темнее. Я смотрел на ворота, чтобы не пропустить, когда придет мама. Но она все не шла. Видно, встретила тетю Розу, и вот стоят и разговаривают и даже не думают про меня. Я лег на песок.

Тут Мишка говорит:

— Не дашь самосвал?

Я говорю:

— Отвяжись, Мишка.

Тогда Мишка говорит:

— Я тебе могу за него дать одну Гватемалу и два Барбадоса!

Я говорю:

— Сравнил Барбадос с самосвалом...

А Мишка:

— Ну, хочешь, я дам тебе плавательный круг?

Я говорю:

— Он у тебя лопнутый.

А Мишка:

— Ты его заклейши!

Я даже рассердился:

— А плавать где? В ванной? По вторникам?

И Мишка опять надулся. А потом говорит:

— Ну, была не была! Знай мою доброту! На!

И он протянул мне коробочку от спичек. Я взял ее в руки.

— Ты открой ее,— сказал Мишка,— тогда увидишь!

Я открыл коробочку и сперва ничего не увидел, а потом увидел маленький светло-зеленый огонек, как будто где-то далеко-далеко от меня горела крошечная звездочка и в то же время я сам держал ее сейчас в руках.

— Что это, Мишка,— сказал я шепотом,— что это такое?

— Это светлячок,— сказал Мишка.— Что, хорош? Он живой, не думай.

— Мишка,— сказал я,— бери мой самосвал, хочешь? Навсегда бери, насовсем! А мне отдай эту звездочку, я ее домой возьму...

А Мишка схватил мой самосвал и побежал домой. А я остался со своим светлячком, глядел на него, глядел и никак не мог наглядеться, какой он зеленый, словно в сказке, и как он, хотя и близко, на ладони, а светит, словно издалека... И я не мог ровно дышать, и я слышал, как быстро стучит мое сердце, и чуть-чуть колело в носу, как будто хотелось плакать.

И я так долго сидел, очень долго. И никого не было вокруг. И я забыл про всех на белом свете.

Но тут пришла мама, и я очень обрадовался, и мы пошли домой.

А когда стали пить чай с бубликами и брынзой, мама спросила:

— Ну, как твой самосвал?

А я сказал:

— А я, мама, променял его.

Мама сказала:

— Интересно! А на что?

Я ответил:

— На светлячка! Вот он в коробочке живет. Погаси-ка свет!

И мама погасила свет, и в комнате стало темно, и мы стали вдвоем смотреть на бледно-зеленую звездочку.

Потом мама зажгла свет.

— Да,— сказала она,— это волшебство! Но все-таки, как решился отдать такую ценную вещь, как самосвал, за этого червячка?

— Я так долго ждал тебя,— сказал я,— и мне было так скучно, а этот светлячок, он оказался лучше любого самосвала на свете.

Мама пристально посмотрела на меня и спросила:

— А чем же, а чем же именно он лучше?

Я сказал:

— Да как же ты не понимаешь? Ведь он живой!
И светится...

ВОЛШЕБНАЯ СИЛА ИСКУССТВА

— Здравствуйте, Елена Сергеевна!..

Старая учительница вздрогнула и подняла глаза. Перед нею стоял невысокий молодой человек. Он смотрел на нее весело и тревожно, и она, увидев это смешное мальчишеское выражение глаз, сразу узнала его.

— Дементьев,— сказала она радостно,— ты ли это?

— Это я,— сказал человек,— можно сесть?

Она кивнула, и он уселся рядом с нею.

— Я вас сразу узнал,— сказал он,— и даже волновался, прежде чем окликнуть, а вдруг вы меня не узнаете...

— Нет, я тоже сразу, что ты... Глазищи-то те же. Ну и ну, встретились! А кой тебе теперь годик?

— Двадцать шестой миновал, Елена Сергеевна.

— Ай-ай-ай, а мне кажется, что ты вчера только пришел ко мне в класс, лохматый, и шнурки развязаны...

— Да. А было это около двадцати лет тому назад, дорогая Елена Сергеевна,— сказал Дементьев.

И оба они вздохнули и поглядели друг на друга с любовью и грустью.

— Как же ты поживаешь, Дементьев, милый?

— Работаю,— сказал он,— в театре. Я актер.

— Доволен?

— Ну, не все, конечно, сбилось... Чацкого не играю, Гамлета тоже почему-то не дают. Актер на бытовые роли, то, что называется «характерный». А работаю много!

— Я очень рада за тебя. Просто всей душой рада.

— Спасибо. Ну, а вы? Как вы-то поживаете?

— Я по-прежнему,— бодро сказала она,— прекрасно! Веду четвертый класс, есть просто удивительные ребята. Интересные, талантливые... Так что все великолепно!

Она помолчала и вдруг сказала упавшим голосом:

— Мне комнату новую дали... В двухкомнатной квартире... Просто рай...

Что-то в ее голосе насторожило Дементьева.

— Как вы это странно произнесли, Елена Сергеевна,— сказал он,— невесело как-то... Что, мала, что ли, комната? Или далеко ездить? Или без лифта? Ведь что-то есть, я чувствую.

— Дементьев,— сказала учительница тихо,— откуда в людях хамство? И когда оно прекратится? Когда хамство перестанет калечить человеческие души, уродовать, отравлять отношения?

— Так,— сказал Дементьев,— значит, я прав. Кто же вам хамит? Директор школы? Управдом? Соседи?

— Соседи, да,— призналась Елена Сергеевна,— понимаешь, я живу как под тяжестью старого чугунного утюга. Мои соседи как-то сразу поставили себя хозяевами новой квартиры. Нет, они не скандалят, не кричат. Они действуют. Выкинули из кухни мой столик. Сказали, что от раковины рукой подать до подоконника, что он широкий и пусть он мне заменяет столик. А два столика — тесно и некрасиво. Они запирают дверь на цепочку, и, когда я прихожу из театра, я бываю вынуждена звонить, долго и неприятно. Однажды не дозвонилась и поехала почевать к подруге. Когда ко мне приходят ученики, а они ведь живые, бывает, и пошумят, мои соседи стучат мне в стенку — они ложатся в восемь. В ванной заняли все вешалки и крючки, мне негде повесить полотенце. Газовые горелки всегда заняты их борщами, бывает, что жду по часу, чтобы вскипятить чай... Ах, милый, ты мужчина, ты не поймешь, это все мелочи, но получилось, что я живу, как надоевшая квартирантка, в доме, который мне дало мое же государство. Тут все в атмосфере, в нюансах, не в милицию же идти? Не в суд же. Я не умею с ними справиться...

— Все ясно,— сказал Дементьев, и глаза у него стали недобрыми,— вы правы. Хамство в чистом виде...

— И вот поди ж ты,— сокрушенно проговорила Елена Сергеевна,— мне бы жить да радоваться, а у меня понижается интерес к жизни, апатия, понимаешь?

— Угу,— сказал Дементьев коротко,— понимаю. А где же это вы проживаете, адрес какой у вас? Ага. Спасибо, я запомнил. Я сегодня вечером к вам зайду. Только просьба, Елена Сергеевна. Ничему не удивляться. И полностью мне во всякой моей инициативе помогать! В театре это называется «подыгрывать»! Идет? Ну, до вечера! Попробуем на ваших троглодитах волшебную силу искусства!

И он ушел.

А вечером раздался звонок. Звонили один раз.

Мадам Мордатенкова, неспешно шевеля боками, прошла по коридору и отворила. Перед ней, засунув ручки в брючки, стоял невысокий человек, в кепочке. На нижней влажной и отвисшей его губе сидел окурок.

— Ты, что ли, Сергеева?— хрипло спросил человек в кепочке.

— Нет,— сказала шокированная всем его видом Мордатенкова.— Сергеевой два звонка.

— Наплевать. Давай проводи!— ответила кепочка.

Оскорбленное достоинство Мордатенковой двинулось в глубь квартиры.

— Ходчей давай,— сказал сзади хриплый голос,— ползешь, как черепаха.

Бока мадам зашевелились порезвей.

— Вот,— сказала она и указала на дверь Елены Сергеевны.— Здесь!

Незнакомец, не постучавшись, распахнул дверь и вошел. Во время его разговора с учительницей дверь так и осталась неприкрытой. Мордатенкова, почему-то не ушедшая к себе, слышала каждое слово развязного пришельца.

— Значит, это вы повесили бумажку насчет обмена?

— Да,— послышался сдержанный голос Елены Сергеевны.— Я...

— А мою-то конуренку видела?

— Видела.

— А с Нюрой, женой моей, разговор имела?

— Да.

— Ну, что ж... Ведь я же так скажу. Я же честно: я бы

сам ни в жисть не поменялся. Сама посуди: у mine там два корешка. Когда ни надумаешь, всегда на троих можно сообразить. Ведь это удобство? Удобство... Но, понимаешь, мне метры нужны, будь они пеладны. Метры!

— Да, конечно, я понимаю,— сдавленно сказал голос Елены Сергеевны.

— А зачем мне метры, почему они нужны мне, соображаешь? Нет? Семья, брат, Сергеева, растет. Прямо не по дням, а по часам! Ведь старшой-то мой, Альбертик-то, что отмочил? Не знаешь? Ага! Женился он, вот что! Правда, хорошую взял, красивую. Зачем хаять? Красивая — глазки маленькие, морда — во! Как арбуз!!! И голосистая... Прямо Шульженко. Целый день «лацдыши-лацдыши»! Потому что голос есть — она любой красноармейский ансамбль переорет! Ну, прямо Шульженко! Значит, они с Альбертиком-то очень просто могут вскорости впука отковать, так? Дело-то молодое, а? Молодое дело-то или нет, я бе спрашиваю?

— Конечно, конечно,— совсем уж тихо донеслось из комнаты.

— Вот то-то и оно! — хрипел голос в кепочке.— Теперь причина номер два: Витька. Младший мой. Ему седьмой пошел. Ох, и малый, я бе доложу. Умница! Игруш. Ему место надо? В казаки-разбойники? Он вот на прошлой неделе затеял запуск спутника на Марс, чуть всю квартиру не спалил, потому что теснота! Ему простор нужен. Ему развернуться негде. А здесь? Ступай в коридор и жги, чего хочешь! Верно я говорю? Зачем ему в комнате поджигать? Ваши коридоры просторные, это для меня плюс! А?

— Плюс, конечно.

— Так что я согласен. Где паша не пропадала! Айда коммунальные услуги смотреть!

И Мордатенкова услышала, что он двинулся в коридор. Быстрее лаши метнулась она в свою комнату, где за столом сидел ее супруг перед двухпачечной порцией пельменей.

— Харитон,— просвистела мадам,— там бандит какой-то пришел, насчет обмена с соседкой! Пойди же, может быть, можно как-нибудь воспрепятствовать!..

Мордатенков пулей выскочил в коридор. Там, словно только его и дожидаясь, уже стоял мужчина в кепочке с прилипшим к губе окурком.

— Здесь сундук поставлю,— говорил он, любовно по-

глаживая ближний угол,— у моей маме сундучок есть, тонны на полторы. Здесь мы его поставим, и пускай спит. Выпишу себе маму из Смоленской области. Что я, родной матери тарелку борща не налью? Налью! А она за детьми присмотрит. Тут вот ейный сундук вполне встанет. И ей спокойно, и мне хорошо. Ну, дальше показывай.

— Вот здесь у нас еще маленький коридорчик, перед самой ванной,— опустив глаза, пролепетала Елена Сергеевна.

— Игде?— оживился мужчина в кепочке.— Игде? Ага, вижу, вижу.

Он остановился, подумал с минуту, и вдруг глаза его припали наивно-сентиментальное выражение.

— Знаешь чего?— сказал он доверительно.— Я бы скажу, как своей. Есть у меня, золотая ты старуха, брательник. Он, понимаешь, алкоголик. Он всякий раз, как подзашибет, счас по ночам ко мне стучится. Прямо, понимаешь, ломится. Потому что ему неохота в отрезвиловку попадать. Ну, он, значит, колотится, а я, значит, ему не отворяю. Мала комнатенка, куды его? С собой-то ведь не положишь! А здесь я киву на пол какую-нибудь тряпку, и пуцай спит! Продрыхнется, и опять смирный будет, ведь это он только пьяный скандалит. Счас, мол, вас всех перережу. А так ничего, тихий. Пуцай его тут спит. Брательник все же... Родная кровь, не скотина ведь...

Мордатенковы в ужасе переглянулись.

— А вот тут наша ванная,— сказала Елена Сергеевна и распахнула белую дверь. Мужчина в кепочке бросил в ванную только один беглый взгляд и одобрительно кивнул:

— Ну, что ж, ванна хорошая, емкая. Мы в ей огурцов насолим на зиму. Ничего, не дворяне. Умываться и на кухне можно, а под первый май— в баньку. Ну-ка, покажь-ка кухню. Игде тут твой столик-то?

— У меня пет своего стола,— внятно сказала Елена Сергеевна,— соседи его выставили. Говорят— два стола тесно.

— Что?— сказал мужчина в кепочке грозно.— Какие такие соседи? Эти, что ли?!— Он небрежно ткнул в сторону Мордатенковых.— Два стола им тесно? Ах, буржуи недорезанные! Ну погоди, чертова кукла, дай Нюрка сюда придет, она тебе глаза-то живо выцарапает, если ты только ей слово поперек пикнешь!

— Ну, вы тут не очень,— дрожащим голосом сказал Мордатенков,— я попросил бы соблюдать...

— Молчи, старый таракан,— прервал его человек в кепочке,— в лоб захотел, да? Так я брызну! Я могу! Пушай я в четвертый раз пятнадцать суток отсижу, а тебе брызну! А я-то еще сомневался, меняться или нет. Да я за твое пахальство из прынца переменяюсь! Баушк! — Он повернулся к Елене Сергеевне.— Пиши скорее заявление на обмен! У меня душа горит на этих подлецов! Я им жизнь покажу! Заходи ко мне завтра утречком. Я бе ожидаю.

И он двинулся к выходу. В большом коридоре он, не останавливаясь, бросил через плечо, указывая куда-то под потолок:

— Здесь корыто повешу. А тут мотоциклет. Будь здорова. Смотри, не кашляй.

Хлопнула дверь. И в квартире наступила мертвая тишина. А через час...

Толстый Мордатенков пригласил Елену Сергеевну на кухню. Там стоял новенький сине-желтый кухонный столик.

— Это вам,— сказал Мордатенков, конфузясь,— зачем вам тесниться на подоконнике. Это вам. И красиво, и удобно, и бесплатно! И приходите к нам телевизор смотреть. Сегодня Райкин. Вместе посмеемся...

— Знаа, солнышко,— крикнул он в коридор,— ты смотри же, завтра пойдешь в молочную, так не забудь Елене Сергеевне кефиру захватить. Вы ведь кефир пьете по утрам?

— Да, кефир,— сказала Елена Сергеевна...

— А хлеб какой предпочитаете? Круглый, рижский, варной?

— Ну, что вы,— сказала Елена Сергеевна,— я сама!..

— Ничего,— строго сказал Мордатенков и снова крикнул в коридор:— Зинулик, и хлеба! Какой Елена Сергеевна любит, такой и возьми! И когда придешь, золотко, постираешь ей, что нужно...

— Ох, что вы!.. — замахала руками Елена Сергеевна и не в силах больше сдерживаться побежала к себе. Там она сдернула со стены полотенце и прижала его ко рту, чтобы заглушить смех. Ее маленькое тело сотрясалось от хохота.

— Сила искусства! — шептала Елена Сергеевна, смеясь и задыхаясь.— О, волшебная сила искусства...

СЕСТРА МОЯ КСЕНИЯ

Один раз был обыкновенный день. Я пришел из школы, поел и влез на подоконник. Мне давно уже хотелось посидеть у окна, поглядеть на прохожих и самому ничего не делать. А сейчас для этого был подходящий момент. И я сел на подоконник и принялся ничего не делать. В эту же минуту в комнату влетел папа. Он сказал:

— Скучаешь?

Я ответил:

— Да нет... Так... А когда же наконец мама придет? Нету уже целых десять дней!

Папа сказал:

— Держись за окно! Покрепче держись, а то сейчас полетишь вверх тормашками!

Я на всякий случай уцепился за оконную ручку и сказал:

— А в чем дело?

Он отступил на шаг, вынул из кармана какую-то бумажку, помахал ею издали и объявил:

— Через час мама приезжает! Вот телеграмма! Я прямо с работы прибежал, чтобы тебе сказать! Обедать не будем, пообедаем все вместе, я побегу ее встречать, а ты прибери комнату и дожидайся нас! Договорились?

Я мигом соскочил с окна:

— Конечно, договорились! Ура! Беги, папа, пулей, а я приберусь! Минута — и готово! Наведу шик и блеск! Беги, не теряй времени, вези поскорее маму!

Папа метнулся к дверям. А я стал работать. У меня начался аврал, как на океанском корабле. Аврал — это большая приборка, а тут как раз стихия улеглась, на волнах тишина, — называется штиль, а мы матросы, делаем свое дело.

— Раз, два! Ширк-шарк! Стулья, по местам! Смирно стоять! Веник-совок! Подметать — живо! Товарищ пол, что это за вид? Блестеть! Сейчас же! Так! Обед! Слушай мою команду! На плиту, справа по одному (повзводно), кастрюля за сковородкой, — становись! Раз-два! За-певай:

Папа только спичкой
чирк!
И огонь сейчас же
фырк!

Продолжайте разогреваться! Вот. Вот какой я молодец! Помощник! Гордиться нужно таким ребенком! Я когда вы-

расту, знаете кем буду? Я буду — ого! Я буду даже ого-го! Огогугаго! Вот кем я буду!

И я так долго играл и выхвалялся напропалую, чтобы не скучно было ждать маму с папой. И в конце концов дверь распахнулась, и в нее снова влетел папа! Он уже вернулся и был весь взбудораженный, шляпа на затылке! И он один изображал целый духовой оркестр и дирижера этого оркестра заодно. Папа размахивал руками.

— Дзум-дзум! — выкрикивал папа, и я понял, что это бьют огромные турецкие барабаны в честь маминого приезда.

— Пыхь-пыхь! — подавали жару медные тарелки. Дальше началась уже какая-то кошачья музыка. Закричал сводный хор в составе ста человек. Папа пел за всю эту сотню, но так как дверь за папой была открыта, я выбежал в коридор, чтобы встретить маму.

Она стояла возле вешалки с каким-то свертком па руках. Когда она меня увидела, она мне ласково улыбнулась и тихо сказала:

— Здравствуй, мой мальчик! Как ты поживал без меня?

Я сказал:

— Я скучал без тебя.

Мама сказала:

— А я тебе сюрприз привезла!

Я сказал:

— Самолет?

Мама сказала:

— Посмотри-ка!

Мы говорили с ней очень тихо. Мама протянула мне сверток. Я взял его.

— Что это, мама? — спросил я.

— Это твоя сестренка Ксения, — все так же тихо сказала мама. Я молчал.

Тогда мама отвернула кружевную простынку, и я увидел лицо моей сестры. Оно было маленькое, и на нем ничего не было видно. Я держал ее на руках изо всех сил.

— Дзум-бум-трум, — неожиданно появился из комнаты папа рядом со мной.

Его оркестр все еще гремел.

— Внимание, — сказал папа дикторским голосом, — мальчику Дениске вручается живая свежая сестренка Ксения. Длина от пяток до головы пятьдесят сантиметров, от головы до пяток — пятьдесят пять! Чистый вес три кило двести пятьдесят грамм, не считая тары.

Он сел передо мной на корточки и подставил руки под мои, наверно, боялся, что я уронию Ксению. Он спросил у мамы своим пормальным голосом:

— А на кого она похожа?

— На тебя,— сказала мама.

— А вот и пет! — воскликнул папа.— Она в своей кошыночке очень смахивает на симпатичную пародную артистку республики Корчагину-Александровскую, которую я очень любил в молодости. Вообще я заметил, что маленькие детки в первые дни своей жизни все бывают очень похожи на прославленную Корчагину-Александровскую. Особенно похож носик. Носик прямо бросается в глаза.

Я все стоял со своей сестрой Ксенией на руках, как дурень с писаною торбой, и улыбался.

Мама сказала с тревогой:

— Осторожнее, умоляю, Денис, не урони.

Я сказал:

— Ты что, мама? Не беспокойся! Я целый детский велосипед выжимаю одной левой, неужели же я уронию такую чепуху?

А папа сказал:

— Вечером купать будем! Готовься!

Он взял у меня сверток, в котором была Ксенька, и пошел. Я пошел за ним, а за мной мама. Мы положили Ксеньку в выдвинутый ящик от комода, и она там лежала спокойно.

Папа сказал:

— Это пока, на одну ночь. А завтра я куплю ей кроватку, и она будет спать в кроватке. А ты, Денис, следи за ключами, как бы кто не запер твою сестренку в комode. Будем потом искать, куда подевалась...

И мы сели обедать. Я каждую минуту вскакивал и смотрел на Ксеньку. Она все время спала. Я удивлялся и трогал пальцем ее щеку. Щека была мягкая, как сметана. Теперь, когда я рассмотрел ее внимательно, я увидел, что у нее длинные темные ресницы...

И вечером мы стали ее купать. Мы поставили на папин стол ванночку с пробкой и наносили целую толпу кастрюлек, наполненных холодной и горячей водой, а Ксения лежала в своем комode и ожидала купания. Она, видно, волновалась, потому что она скрипела, как дверь, а папа, наоборот, все время поддерживал ее настроение, чтобы она не очень боялась. Папа ходил туда-сюда с водой и простын-

ками, он спял с себя пиджак, засучил рукава и льстиво покрикивал на всю квартиру:

— А кто у нас лучше всех плавает? Кто лучше всех окунается и ныряет? Кто лучше всех пузыри пускает?

А у Ксеньки такое было лицо, что это она лучше всех окунается и ныряет,— действовала папина лесть. Но когда стали купать, у нее такой сделался испуганный вид, что вот, люди добрые, смотрите, родные отец и мать сейчас утопят дочку, и она пяткой поискала и нашла дно, оперлась и только тогда немного успокоилась, лицо стало чуть поровней, не такое несчастное, и она позволила себя поливать, но все-таки еще сомневалась, вдруг папа даст ей захлебнуться... И я тут вовремя подсунулся под мамин локоть и дал Ксеньке свой палец и, видно, угадал, сделал, что надо было, она за мой палец схватилась и совсем успокоилась. Так крепко и отчаянно ухватилась девчонка за мой палец, просто как утопающий за соломинку. И мне стало ее жалко от этого, что она именно за меня держится, держится изо всех сил своими воробьиными пальчиками, и сквозь эти пальцы чувствуется ясно, что это она мне одному доверяет свою драгоценную жизнь и что, честно говоря, все это купанье для нее мука, и ужас, и риск, и угроза, и надо спастись: держаться за палец старшего, сильного и смелого брата. И когда я обо всем этом догадался, когда я понял наконец, как ей трудно, бедняге, и страшно, я сразу стал ее любить.

ОДНА КАПЛЯ УБИВАЕТ ЛОШАДЬ

Когда папа заболел, пришел доктор и сказал:

— Ничего особенного, маленькая простуда. Но я вам советую бросить курить: у вас в сердце легкий шумок.

И когда он ушел, мама сказала:

— Как все-таки некультурно доводить себя до болезней этими проклятыми папиросами! Ты еще такой молодой, а вот уже в сердце у тебя шумы и хрипы.

— Ну,— сказал папа,— ты преувеличиваешь! У меня нет никаких особенных шумов, а тем более хрипов. Есть всего-навсего один маленький шумишко. Это не в счет.

— Нет, в счет! — воскликнула мама.— Тебе, конечно, нужен не шумишко, тебя бы больше устроили скрип, лязг и скрежет, я тебя знаю!

— Во всяком случае мне не нужен звук пилы! — перебил ее папа.

— Я тебя не пилю! — Мама даже покраснела. — Но пойми ты, это действительно вредно. Ведь ты же знаешь, что одна капля папиросного яда убивает здоровую лошадь!

Вот так раз! Я посмотрел на папу. Он был большой, спору нет, но все-таки поменьше лошади. Он был побольше меня или мамы, но, как ни верти, он был поменьше лошади или даже самой захудалой коровы. Корова бы никогда не поместилась на нашем диване, а папа помещается свободно. Я очень испугался. Я никак не хотел, чтобы его убивала такая капля яда. Не хотел я этого никак и ни за что. От этих мыслей я долго не мог заснуть, так долго, что не заметил, как все-таки заснул.

А в субботу папа выздоровел, и к нам пришли гости. Пришли дядя Юра с тетей Катей, Борис Михайлович и тетя Тамара. Все пришли и стали вести себя очень прилично, а тетя Тамара как только вошла, так вся завертелась, и затрещала, и уселась пить чай рядом с папой. За столом она стала окружать папу заботой и вниманием, спрашивала, удобно ли ему сидеть, не дует ли из окна, и в конце концов до того наоказалась и назаботилась, что выпала ему в чай три ложки сахара. Папа размешал сахар, хлебнул и сморщился.

— Я уже один раз насладила этот стакан, — сказала мама, и глаза у нее стали зеленые, как крыжовник.

А тетя Тамара расхохоталась во все горло. Она хохотала, как будто кто-то под столом кусал ее за пятки. А папа отодвинул переслащенный чай в сторону. Тогда тетя Тамара выпула из сумочки тоненький портсигарчик и подарила его папе.

— Это вам в утешение за испорченный чай, — сказала она. — Каждый раз, закуривая папироску, вы будете вспоминать эту смешную историю и ее виновницу.

Я ужасно разозлился на нее за это. Зачем она напоминает папе про курение, раз он за время болезни уже почти совсем отвык! Ведь одна капля курильного яда убивает лошадь, а она напоминает! Я сказал:

«Вы дура, тетя Тамара! Чтоб вы лопнули! И вообще вон из моего дома! Чтоб ноги вашей толстой больше здесь не было!»

Я сказал это про себя, в мыслях, так что никто ничего не понял.

А папа взял портсигарчик и повертел его в руках.

— Спасибо, Тамара Сергеевна, — сказал папа. — Я очень

тронут. Но сюда не войдет и одна моя папироска: портсигар такой маленький, а я курю «Казбек». Впрочем...

Тут папа взглянул на меня.

— Ну-ка, Депис,— сказал он,— вместо того чтобы выдувать третий стакан чая на ночь, пойдика к письменному столу, возьми там коробку «Казбека» и укороти папироски, обрежь так, чтобы они влезли в портсигар. Ножницы в среднем ящике!

Я пошел к столу, нашел папиросы и ножницы, примерил портсигар и сделал все, как он велел. А потом отнес полный портсигарчик папе. Папа открыл портсигарчик, посмотрел на мою работу, потом на меня и весело рассмеялся:

— Полюбуйтесь-ка, что сделал мой сообразительный сын!

Тут все гости стали наперебой выхватывать друг у друга портсигарчик и оглушительно хохотать. Особенно старалась, конечно, тетя Тамара. Она не смеялась, а всхрапывала и всхрюкивала. Потом она перестала смеяться и костяшками пальцев постучала по моей голове.

— Ну как же это ты догадался оставить целыми картопные мундштуки, а почти весь табак отрезать? Ведь курят-то именно табак, а ты его отрезал! Да что у тебя в голове: песок или опилки?

Я сказал: «Это у тебя в голове опилки, Тамарище Семипудовое!» Сказал, конечно, в мыслях, про себя. А то бы меня мама заругала. Она и так смотрела на меня что-то уж чересчур пристально.

— Ну-ка, иди сюда! — Мама взяла меня за подбородок. — Посмотри-ка мне в глаза!

Я стал смотреть в мамины глаза и почувствовал, что у меня щеки стали красные, как флаги.

— Ты это сделал нарочно? — спросила мама.

Я не мог ее обмануть.

— Да,— сказал я,— я это сделал нарочно.

— Тогда выйди из компаты,— сказал папа,— а то у меня руки чешутся.

Видно, папа ничего не понял. Но я не стал ему объяснять, я вышел из компаты.

Шутка ли, одна капля убивает лошадей!

СОДЕРЖАНИЕ

О Викторе Драгунском	3
--------------------------------	---

Часть I

Он упал на траву. Повесть	5
-------------------------------------	---

Часть II

Рассказы

Расскажите мне про Сингапур	102
Кот в сапогах	107
✓ Рыцари	110
✓ Мой знакомый медведь	114
На Садовой большое движение	118
Старый мореход	124
Бы...	130
Друг детства	131
Тайное становится явным	134
Пожар во флигеле или подвиг во льдах...	137
Слон и радио	142
Гусиное горло	145
Хитрый способ	150
Смерть шпиона Гадюкина	153
Где это видано, где это слышано...	159
Ровно 25 кило	165
Рабочие дробят камень	171
Красный шарик в синем небе	176
Сражение у Чистой речки	179
Двадцать лет под кроватью	182
Что я люблю...	186
...И чего не люблю!	188
Надо иметь чувство юмора	189
«Тиха украинская ночь...»	192
Девочка на шаре	195
Синий кинжал	202
Зеленчатые леопарды	204
Он живой и светится...	208
Волшебная сила искусства	210
Сестра моя Ксения	216
Одна капля убивает лошадь	219

*Для детей среднего
и старшего возраста*

Виктор Юзефович Драгунский

КРАСНЫЙ ШАРИК В СИНЕМ ЦЕБЕ

Редактор М. В. Долотцева

Художественный редактор И. И. Рыбченко

Технический редактор Т. С. Маринина

Корректоры М. С. Никитина, Т. А. Лебедева

ИБ № 2363

Сдано в набор 29.07.81. Подписано в печать 14.05.82. Формат 84 × 108/32. Бумага типогр. № 1. Гарнитура обыкновенная новая. Печать высокая. Усл. п. л. 11,76. Усл. кр.-отт. 11,97. Уч.-изд. л. 13,22. Тираж 200.000 экз. Заказ № 411. Цена 60 к. Изд. инд. ЛД-356

Издательство «Советская Россия» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, пр. Сапунова, 13/15.

Книжная фабрика № 1 Росглавополиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяпа, 25.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Издательство просит отзывы об этой книге и пожелания присылать по адресу: 103012, Москва, проезд Сапунова, 13/15, издательство «Советская Россия».

